



Арсен ЕРЕМЯН
1936 - 2015

Филолог, поэт, прозаик, редактор. Окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета. Работал в редакциях газет «Вечерний Тбилиси», «Заря Востока» («Свободная Грузия»), «Грузия-Спектр» и на партийной работе. Заслуженный журналист Грузии. Был заместителем главного редактора журнала «Русский клуб». Книги А.Еремяна выходили в Тбилиси и Москве на грузинском и русском языках. Это – сборники стихотворений, рассказов и очерков «Семнадцать весен Майи» (1980), «Гром победы» (2002), «Автограф» (2007), «Робинзоны в городе» (2009), «22 июня» (2011), «Высота» (2011), «Позови меня как сына» (2013) и другие.

НАШ АРСЕН



ПАМЯТИ АРСЕНА ЕРЕМЯНА



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ «РУССКИЙ КЛУБ»
www.russianclub.ge rusculture@mail.ru



БИБЛИОТЕКА МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО
СОЮЗА «РУССКИЙ КЛУБ»

Международный культурно-просветительский союз
«Русский клуб»

Наданные осуществлены при поддержке
Международного благотворительного фонда «НАРТА»

Выпуск проекта
НИКОЛАЙ СВЕТИЦКИЙ
Золотой век искусства 19

НАШ АРСЕН

В этом альбоме мы представляем вашему вниманию
выпуск проекта «Наш Арсен» посвященный
Николаю Светицкому. В альбоме собраны
картины, выполненные в различных жанрах
и техниках. Это и пейзажи, и портреты,
и исторические сцены. Каждая картина
является уникальным произведением искусства,
которое заслуживает внимания и уважения.

Арсен — это собрание произведений искусства,
которые принадлежат одному человеку или
одному учреждению. В нашем альбоме
представлены произведения, которые
принадлежат Международному культурно-просветительскому
союзу «Русский клуб».

Сборник памяти Арсена Еремияна
представляет собой уникальное собрание
произведений искусства, которые
принадлежат Международному культурно-просветительскому
союзу «Русский клуб».

Тбилиси
2016

«Русский клуб» 2016

Издатель –
Международный культурно-просветительский Союз
«Русский клуб»

Издание осуществлено при поддержке
Международного благотворительного фонда «КАРТУ»

Руководитель проекта –
НИКОЛАЙ СВЕНТИЦКИЙ
заслуженный деятель искусств РФ

СЫН ТОЙ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ

Валерий ПАРТУГИМОВ

В недавнюю августовскую ночь, утяжеленную духотой и навязчивой бессонницей, внезапно ворвался резкий звонок мобильного, на экране которого, словно зловещая летучая мышь, металась черная метка о кончине Арсена Еремяна – давнего и верного моего друга, коллеги из родного города. Когда-то, более полувека назад, мы познакомились и сдружились в стенах стройного конструктивистского архитектурного шедевра на проспекте Руставели, в котором располагалась тогда редакция газеты «Заря Востока». Арсен был немногословным, но очень мастеровитым журналистом, прекрасно играл в шахматы, знал толк в литературе, искусстве, спорте, был человеком в высшей степени любознательным и трудолюбивым.

Уход из жизни Арсена, коренного тбилисца во многих поколениях, тонкого ценителя и проповедника духа старого Тифлиса, стал громадной потерей не только для родных и друзей, хорошо знавших цену его прекрасным человеческим качествам и творческим способностям, но и для всего Тбилиси, о котором он в своих замечательных рассказах, эссе и стихах поведал нам много такого, что сделало этот город великим и величавым, а горожан разделило на две части – на достойных и недостойных называться его потомками, истинными мокалаке.

Арсен сам был одной из драгоценностей, сокрытой от легковесных взглядов сокровищницы культуры нашего древнего города, мудрым и стойким ее хранителем. Именно трепетное, восхищенное, бесконечно уважительное и благодарное отношение Арсена к Тбилиси, как к самому родному любимому существу, мне казалось главным в его человеческой сущности. Он был неразъединимо слит с образом Тбилиси, тоньше и глубже многих других проникал в тайны непрерывной красоты и непоколебимости духа одного из немногих «вечных городов» мира.

В своей, накануне ухода из жизни вышедшей книге «Позови меня как сына», которую можно назвать прощальным словом нашего друга, Арсен был поэтически прозорлив: «Сколько пылким менестрелям еще должен дать жизнь этот город, чтобы выразить сполна его красоту и притягательность, неповторимый характер тбилисцев, поэтов и художников от рождения, чьи предки, испив воды этой реки хоть раз, навсегда сохранили в крови пожар негасимой любви к вечному городу. Мтквардалеулни! Великая общ-

ность людей».

Арсен жил на Хлебной площади — на распутье трех дорог, ведущих из одной сказки в другую. Одна из троп отсюда тянется круто вверх, к средоточию природных сил — отрогам Триалетского хребта, который порожден сумасшествием вулканов палеогена и прикрывает Тбилиси с правой стороны Куры. Другая улочка стремительно скатывается вниз, в урочище Сеидабада — колыбель древнего Тпхиса-Тпилиса-Тифлиса. И, наконец, еще одна улица ведет от Хлебной по пологому подъему к дельте сололакских притоков, устремленных в русло современного Тбилиси.

Невозможно жить тише воды ниже травы на местах тектонических разломов, в эпицентре «розы ветров» стремительно сменяющихся эпох. И Арсен сызмальства искал и счастливо нашел единственно верный ответ на множественную по смыслам надпись на камне: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево...», который в известной сказке никак не мог найти стоявший перед развилкой трех дорог витязь. Наш друг, дерзкий витязь и нежный рыцарь, прошел от начала до конца все три дороги, ведущие от его дома к сердцу, душе и разуму древнего и нескончаемого юного Тбилиси.

Позже, в зрелом возрасте, Арсен напишет стихами о прелести этого своего безостановочного подвижнического пути по прочерченной в его пламенном воображении спирали города, взмывающей от Хлебной к вершине Мтацминда и летящей оттуда к Нарикале, чтобы затем в сладостном выражении ринуться в мутную Куру и, спустя мгновение, вырвавшись из объятий хорова серебристых цоцхали, взлететь к гребенчатой оконечности полуразрушенной Метехской крепости, и еще выше — к Элиа, а потом — уже по другой траектории: «Мост миновал несправедливым шагом, / Иду в район Сирачханы, / Где антикварен каждый камень / И раритетам нет цены... / Ничто не изменилось вроде. / Легенды собраны, как дань...» («Истоки»). И вновь — полет поэта над любимым городом: «Спит Нарикала — куличи / Застыли в каменном дозоре, / Все говорит: «Замри, молчи! / Где ты увидишь лучше зори?» / Тбилиси я люблю, как сын...» («Мтацминда»). Конечно, это о Тбилиси им вдохновенно сказано: «И та земля обетованная, / Где тебя примут, не ропща, / Утрут власами твои раны, / Не осуждая каждый шаг...» («Quo vadis»).

Три года назад, в мой последний приезд в Тбилиси, мы вдвоем сидели на скамье в старом скверике на бывшей Абасс-Абадской площади, нещадно топча вековую пыль и разгадывая печальные загадки угасания интереса к старотифлисской городской песне, к таким знаковым в старину инструментам, как кеманча, тар и дудуки, вспоминали фрагменты уникальной книги Иосифа Гришашвили «Литературная богема старого Тбилиси», спорили о попытке гениальной Мананы Менабде возродить мугам в тбилисском приложении к христианской культурной традиции. Арсик пришел на встречу с рюкзаком, набитым доверху интересными книгами о Кавказе, которые он мне подарил, зная мою слабость ко всему познавательному, что касается

родного края. Но никакая книга не могла сравниться с тем багажом эрудиции и интеллекта, который нес в себе мой друг, совершенный тип азартного книгочея, обладавший уникальной памятью и бесчисленными знаниями из любой, казалось, области жизни человеческой.

Только мы расстались у знаменитого голубого домика, крепко обнявшись на прощанье, как начался невообразимый ливень. Я юркнул в свою машину и медленно двинулся вверх по улице Лермонтова. Небесный водопад сменился бешеным шквалом градин величиной с кулак, дьявольский грохот грома безжалостно бил по ушам, и показалось, что наступает конец света. Тогда я не знал, не предугадал, что свыше дан мне печальный знак о том, что больше никогда я своего друга Арсика не увижу.

ТЯЖЕЛО ТЕРЯТЬ ТАКОГО ДРУГА

Эмзар КВИТАИШВИЛИ

Его уход из земной жизни не был неожиданностью, но смерть Арсена Еремянна, человека щедрой души, богатого внутреннего мира, одаренного поэта, прозаика и выдающегося журналиста, глубоко опечалила всех, знавших его.

Больше года он был прикован к постели неизлечимой болезнью, но ни один день не прекращал общения с любимым журналом «Русский клуб», для блага которого неустанно трудился и делал все возможное.

С Арсеном я познакомился в юности — мы вместе учились на филологическом факультете Тбилисского государственного университета (он — на русском отделении, я — на грузинском). Мы сразу же подружились, стали переводить друг друга. Быстро промчались беззаботные студенческие годы, но мы никогда не прерывали приятельских отношений, нас прочно связывали общие интересы, любовь к поэзии, к спорту.

В разное время Арсен служил во многих органах печати, имел богатый опыт журналиста, но, пожалуй, больше всего отдал «Русскому клубу», в котором самоотверженно работал в течение 10 лет, с самого дня его основания. Неслучайно, что именно он сблизил меня с сотрудниками «Русского клуба», которые столь много сделали и продолжают делать для популяризации грузинской культуры, литературы, спорта, для восстановления и укрепления традиционных связей наших народов.

Всю свою сознательную жизнь Арсен упорно и плодотворно творил, он автор многих поэтических и прозаических сборников, книг о спорте.

Наиболее полно творчество Арсена Еремянна представлено в объемном одномотнике «Позови меня как сына», который объединяет его избранные рассказы, стихотворения и очерки. Эта итоговая книга вышла в 2013 году при поддержке Союза «Русский клуб» и вызвала живой интерес как знато-

ков литературы, так и широкой читательской аудитории. В аннотации (не для пропагандистских целей) сказано о главном предназначении этого важного издания: «Книга призвана способствовать обмену духовными ценностями двух народов, сохранению и развитию многовековых культурных и общественных связей между Арменией и Грузией». Разумеется, книга не укладывается только в эти рамки, ее масштабы гораздо шире.

Особое внимание наш друг уделял теме Второй мировой войны. Опубликовал о подвигах участников войны редкие, малоизвестные материалы — получилась целая книга под названием «22 июня», которая принесла ему большое признание. Отовсюду шли письма благодарности. Но, по натуре крайне скромный, Арсен никогда не кичился своими успехами и предпочитал оставаться в тени.

Он безукоризненный мастер документальной прозы. Не будет лишним отметить, что видный поэт и прозаик, доктор искусствоведения, коренной тбилисец, ныне проживающий в Германии Моисей Борода восторженно встретил лучший рассказ этого жанра «Завещание Гроссмана», о котором вдохновенно писал: «Радует, что этот замечательный по своему художественному уровню, эмоционально потрясающий рассказ, отвечающий самым высоким требованиям литературы, был опубликован и за рубежом, где сразу получил широкое признание».

Помню, такие лестные, искренние отзывы, получаемые из разных стран, воодушевляли Арсена, усиливали его уверенность в своих силах.

Не осталась незамеченной и своеобразная, глубокая поэзия Арсена. Филолог, журналист Нина Зардалишвили-Шадури в своей предельно емкой, сжато написанной статье «Опаленный жар» дает верную оценку заслугам Арсена Еремянна, его обаятельному человеческому облику, его откровенности: «Я надеюсь многому научиться у автора «Автографа» и «Высоты». Он ироничен. Он щедр. Он отходчив. Он исключительно благородный человек. Он умеет любить. Наверное, по прочтении стихотворений Арсена Еремянна и нам, его благодарным читателям, перепадет немного той Любви, которой наполнены его книги».

Арсен досконально знал и любил русскую поэзию. Его кумирами были два Александра — Пушкин и Блок. Он был большим поклонником творчества Ахматовой, Мандельштама, Пастернака...

Его радовало дружеское расположение выдающегося поэта Евгения Рейна, чью книгу с теплой дарственной надписью он бережно хранил.

Как всякому истинному поэту Арсену была присуща грусть о бренности мира. Он часто сетовал, горько сожалел, что невозможно вернуть минувшее, и лаконично выразил это чувство в двух строках:

Жизнь повернуть вспять не дано,
Как в хронике Марселя Пруста.

У него есть одно маленькое трогательное стихотворение «Одиночество»,

где, мне кажется, он мысленно общается со своей супругой, неразлучной спутницей жизни, милой Генриеттой, с кончиной которой никак не хотел примириться (это случилось прошлым летом, а год спустя Арсена похоронили рядом с ней). Эта скорбная, полная рокового предчувствия элегия стоит того, чтобы привести ее целиком:

Я умираю без тебя,
И ты не знаешь,
Что наша жизнь не театр,
А шутка злая.

Как пусто стало на земле —
Шекспир не нужен.
Смерть реплику бросает мне:
«Перви свой ужин».

Ты не услышишь мой ответ,
Угасший в шуме.
И не спеши, меня уж нет.
Я, знаешь, умер.

Идеалом, светочем в жизни и творчестве для Арсена был великий поэт и гражданин, классик армянской литературы Ованес Туманян, который стал символом дружбы двух древнейших христианских стран — Армении и Грузии. Арсен безгранично любил свою историческую родину — Армению и с благоговением посвящал ей цикл великолепных стихотворений. Так же проникновенно, с огромной любовью писал он вдохновенные пламенные строки о родном Тбилиси, о Пиросмани, о «голуборожцах», о своих тбилисских друзьях...

Хочется хотя бы коротко сказать и о блестящих спортивных опусах Арсена Еремянна, который не зря считается летописцем грузинского и мирового спорта — жизненный путь и судьбу многих именитых спортсменов он знал в мельчайших деталях.

Не могу не упомянуть очерк о великом грузинском борце-дзюдоисте Шота Чочишвили «Как прорубили окно в мир», в котором приводится более чем внушительный список его побед, но предпочтение отдается описанию триумфа в стране дзюдо — Японии, где, увидев непревзойденное мастерство Чочишвили, старший тренер японской сборной, в прошлом сам обладатель высочайших наград, 74-летний Шохей Хамано без промедления изрек: «В дзюдо начинается новая эра». Нелегкое это было дело — на глазах у японцев повергнуть на татами двукратного чемпиона мира, сильного и весьма хитрого Фумио Сасахара. А потом, в 1989 году в Токио, измученный

травмами, Чочишвили смог одолеть легендарного профессионального борца Антонио Иноки.

Приведу лишь один небольшой абзац из этого очерка, чтобы дать представление о незаурядном таланте автора: «Когда Шота провел против кумира японцев отличный болевой прием, хозяева 54-тысячного «Дома Токио» сначала застонали от горя, а потом десять минут не отпускали победителя с ринга, скандируя: «Чо-ча! Чо-ча!»

Не буду отдельно говорить об очерке «Чемпион на все времена» (название само говорит за себя), посвященном эталону классической борьбы, настоящему богатырю Гиви Картозия, рыцарские достоинства и феноменальные победы которого всегда бесконечно восхищали Арсена, — об этом читатели, без сомнения, и так знают.

Вообще, Арсен, когда писал свои блистательные спортивные этюды, каким-то волшебным образом оживлял картины состязаний на мировых аренах, вкладывая в них всю душу. Каждый эпизод очерков полон динамикой, окрашен страстной эмоциональностью. Этому способствуют отличная композиция и эффектные концовки.

...В течение двух последних лет Арсен медленно угасал, и мы, к сожалению, ничем не могли облегчить его тяжелое состояние. В прошлом году ему было крайне трудно ходить, и я не раз провожал его с работы до дома. Тем не менее, он оставался по-прежнему твердым, бескомпромиссным и не прекращал активного участия в работе журнала. Но после кончины любимой супруги окончательно слег, и состояние его здоровья резко ухудшилось. Налицо были признаки того, что коварная болезнь довершает свое дело, и никто не в состоянии предотвратить неминуемое... Его единственный сын Левон не щадя сил ухаживал за дорогими родителями и до конца исполнил свой священный долг.

Время от времени я звонил Арсену (видеть он уже никого не хотел), чтобы немного приободрить, но это плохо получалось. И даже в таком состоянии он думал и заботился о других. «Береги себя, дорогой!» — это были последние слова, которые я от него услышал.

На своем жизненном пути я редко встречал таких морально чистых и справедливых людей, каким был Арсен Еремян. В различных обстоятельствах он с одинаковым рвением выражал восторг и возмущение. Избегая общения с коварными, подлыми существами, на первое место всегда ставил благородные человеческие качества. Неслучайно, что героями своих правдивых очерков он неукоснительно выбирал честных, возвышенных душой людей. Каждая строка, им написанная, была полна сострадания и любви. До последнего вздоха Арсен оставался ревностным служителем и защитником истины и красоты, без которых нет будущего, без которых человечество ожидает одичание и гибель.

В день похорон Арсена ближайшие друзья с грустью и неподдельной

теплотой вспоминали годы, которые провели вместе с ним. Президент «Русского клуба» Николай Свентицкий говорил о незабываемых заслугах Арсена Еремяна и высказал ряд практических соображений, как должным образом увековечить его деятельность. Главный редактор журнала «Русский клуб» Александр Сватиков рассказал, как тщательно они с Арсеном готовили к печати каждый номер. Он же озвучил предложение Николая Николаевича издать книгу Арсена Еремяна, посвященную великим спортсменам Грузии, для прославления которых он столько сделал. Старейший друг Арсена, один из лучших музыковедов и спортивных журналистов Грузии, тонкий знаток литературы Гулбат Торадзе говорил о нем, как о совершенно уникальном человеке, которому грузинский спорт обязан и благодарен больше всех. Из слов Гиви Шахназари, Вана Байбурта, Дари Калантарова, Владимира Головина и других чувствовалось, с каким редким, особым человеком, выдающимся представителем нашего поколения они простились.

Ничуть не сомневаюсь, что его посмертная жизнь будет такой же славной, каким был пройденный земной путь — без единого пятнышка. Арсен Еремян оставил после себя озаренный добротой и любовью яркий след, который никогда не померкнет и укажет будущим поколениям, как надо жить и творить.

Отныне и до конца своих дней я буду свято беречь его светлую память. Терять такого друга очень тяжело.

ПАМЯТИ ДРУГА

Гулбат ТОРАДЗЕ

Смерть Арсена Еремяна острой болью отозвалась в сердцах всех, кто знал этого, я бы сказал, уникального человека.

Поражала, в первую очередь, его феноменальная осведомленность буквально во всех сферах человеческой деятельности, будь то общественная жизнь, наука, литература, искусство, спорт.

Филолог по образованию, А.Еремян являлся незаурядным писателем: прозаиком и поэтом, автором нескольких очень интересных, содержательных книг. Одновременно он был первоклассным, разносторонним журналистом, мастерски владевшим пером.

Совершенно исключительной представляется эрудиция Арсена в области грузинского спорта, причем буквально во всех его видах!

Следует позаботиться о том, чтобы его статьи о спорте были изданы отдельной книгой.

Я познакомился с Арсеном в 70-х годах ушедшего столетия, когда он работал в наших русскоязычных газетах: «Заря Востока» и «Вечерний Тбилиси». Вскоре завязалась и дружба, основанная на общности наших взгля-

дов по многим вопросам общественной, культурной и спортивной жизни.

Неслучайно, что он взялся написать вступительную статью к моей футбольной книжке, весьма лестную для меня, за что я был очень и очень благодарен ему.

В последние годы мы часто встречались в редакции любимого нами журнала «Русский клуб».

Я навсегда сохраню память о моем друге, замечательном человеке Арсене Еремяне.

АРСЕН ОСТАЕТСЯ С НАМИ

Гиви ШАХНАЗАРИ

В том, что пожилой человек острее переживает утрату, нет ничего удивительного.

Уже вступивши в девятый десяток, я потерял не одного близкого друга. Не менее болезненным для меня стало известие о кончине Арсена Еремяна. Не важно, что мы не дружили всю жизнь — за годы нашего общения у нас сложились теплые дружеские отношения.

Его твердая гражданская позиция, глубокая любовь к родному для нас обоим городу, верность семье — все привлекало меня. Для меня Арсен был и остался примером, эталоном журналиста и писателя, человека, украшенного нашими лучшими старинными национальными традициями, которыми так богат Тбилиси.

Его разностороннее творчество давно мне было знакомо, в последние же годы, благодаря журналу «Русский клуб» и нашему общему другу Эмзару Квитаишвили, оно стало мне еще ближе, а фигура Арсена Еремяна высветилась еще ярче.

Нам долго будет недоставать Арсена, прекрасного профессионала, человека с чистой и светлой душой.

АРСИК

Камилла-Мариам КОРИНТЭЛИ

Мы идем по дороге жизни и обретаем друзей. И это — великое счастье! Но увьи! — мы и теряем друзей. Горечь и боль утраты долго-долго преследуют тебя, а пустота, образовавшаяся на месте ушедшего, не заполняется никем другим, потому что уникален каждый из нас и уникальны нити, связывающие нас. И эта пустота не зарастает травой забвения.

Арсен Еремян или Арсик, как называли его мы, друзья и близкие, стал частью того мира, в который в разное время ушли многие мои друзья, пре-

красные журналисты, прекрасные писатели, прекрасные люди. Гиви Гегечкори, Отиа Пачкориа, Лиля Браиловская, Натэла Карашвили, Нодар Тархнишвили, Нодар Думбадзе, Леван Челидзе, Вова Осинский, Гурам Хараидзе, Нелли Узнадзе, Гурам Панджикидзе, совсем недавно — Чабуга Амиреджиби, Майя Бирюкова, Гина Челидзе... И еще многие, дорогие мне, ушли в лазурные выси Небесной Грузии. Их земной образ, их голоса, их смех, походка, манеры — все живет в нашей памяти, но все они принадлежат иному мирозданию. Мы видим их в наших снах, пытаемся разгадать эти сны... Землянин XX-XXI столетий целеустремленно и, быть может, порой не до конца осознанно работающий на самоуничтожение, более того — на уничтожение всего живого, к счастью, дорвался до раскрытия пока еще не всех тайн. Как ни странно, работая в одной и той же сфере, зная друг о друге и даже видя друг друга, мы познакомились гораздо позднее, и я даже не помню, когда и как. Прошло время, и он однажды пришел ко мне, так сказать, с деловым визитом. Этот визит для меня обрел большое значение. Сам того не зная, Арсик вывел меня из долгой, творческой (и не только творческой) депрессии, за что я ему глубоко благодарна. Он принес с собой новый, очередной номер журнала «Русский клуб» (для меня любой номер был новым) и пригласил к сотрудничеству в этом журнале. Для начала предложил мне напечатать подборку стихов. Он сам их отобрал, и я с удовлетворением отметила его вкус. Так я стала сотрудничать с Арсиком и высокопрофессиональным и доброжелательным коллективом редакции.

Арсен Еремян был журналист высокого ранга, с огромным чувством ответственности, эрудированный, инициативный, полный интересных идей, которыми не скупился делиться с другими, честный, порядочный. Он удивительно умел радоваться успехам и удачам других, был требовательным и к себе, и к другим. Работал не щадя себя. Сколько бессонных ночей во время дежурств по номеру было отдано чтению газетных полос, истощающих зрение, да еще бывало при свете уличных ламп, — когда в редакции отключалось электричество в тяжелые 90-е. Приходится лишь удивляться, когда он успевал писать, собирать материал!

Именно с ним я поделилась идеей издания перевода романа Григола Робакидзе «Змеиная рубашка». Все мои предыдущие попытки осуществить эту идею терпели фиаско. Мы сделали в журнале публикацию небольшого фрагмента романа. «Это удивительная и необычная проза», — сказал он тогда. Издание осуществилось, к сожалению, уже без него, — он тяжело заболел. Но тепло поздравил меня по телефону (все время его болезни мы беседовали только по телефону, он не хотел, чтобы я его видела).

Он любил свою нелегкую профессию, был предан ей от начала и до конца. Все, что он делал, он делал с душой. Где бы ни работал, работал с полной отдачей. Писал чуть не до последних дней. Под конец своей деятельности он издал несколько книг — рассказы, стихотворения, очерки. Особо

хочу отметить очерки о спорте и спортсменах. Футбол, баскетбол, шахматы, теннис, ватерполо, тяжелая атлетика — да пожалуй, все виды спорта входили в сферу его интересов. Целая галерея живых, ярких образов людей, которые были известны далеко за пределами Грузии и Советского Союза, чьи имена гремели. Арсен Еремян создал великолепную летопись грузинского, и не только грузинского, спорта. Это не просто очерки — это правда, облеченная в художественную форму, это документально-художественная проза. Он воскресил целую эпоху, которую в лучшем случае плохо, неверно знает наша молодежь (да и люди постарше), а то и вообще не знают. Это его огромная по объему и значению работа сердца и ума должна обрести вторую жизнь на грузинском языке. Как и его замечательные рассказы о Тбилиси и тбилисцах, какими их видели, знали, любили и любим мы, шестидесятники. Уроженец Тбилиси, грузин по материнской линии, Арсен был тбилисцем до мозга костей, он не представлял себя без этого города.

Часто, идя в редакцию по утрам, он делал небольшую петлю, чтобы зайти ко мне и оставить на прочтение материалы для той или иной книги. Он все заботился, чтобы не было слишком много — стихов или рассказов, или спортивных очерков.

«Ты понимаешь, получается большой объем. Как ты думаешь, может, это снять?», — спрашивал он. У него была любящая и любимая жена — Генриэтта, очень красивая и добрая женщина. Она ушла раньше него. Уход Генриэтты для Арсика был тяжелейшим ударом. Остался сын, который сделал для больного отца больше возможного.

Все это уже в прошлом, которого больше нет, которое бесплотно, неосуществимо и живо лишь в наших сердцах.

КАЗАЛОСЬ, ОН БУДЕТ ВСЕГДА

Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ-ШАДУРИ

Могла ли я вообразить, что мне придется писать эти строки и прощаться навеки с дорогим старшим другом? Я была совершенно уверена, что Арсен будет всегда. Мне и сейчас гораздо легче представить — он вот-вот войдет в дверь с шутливым объявлением «А вот и я, ваш любимый Арсенчик», чем смириться с мыслью о том, что этого не произойдет никогда.

Мне выпало трудное счастье в течение пяти лет проработать рядом с Арсеном. Мы занимали один кабинет, наши рабочие столы стояли рядом. Целых пять лет, аж 1826 дней! Как это много! И, оказывается, как недостаточно.

С ним невозможно было наговориться вволю, ни секунды не было скучно или неинтересно.

Энциклопедически образованный человек с фантастической памятью,

ярким чувством юмора (довольно часто переходящим в сарказм). Непоколебимый и жестко бескомпромиссный в профессиональных вопросах. Отзывчивый, моментально приходящий на помощь в минуту жизни трудную, очень упрямый, ранимый, обидчивый — это все о нем, об Арсене...

Авторам с ним было тяжело. Для него не существовало священных коров. Он редактировал непримиримо — «недрогнувшей рукой» (его любимая присказка) вырезал все, что считал лишним, не нужным. Не терпел многословия. Не признавал слово «является». «Являются черти», — говорил Арсен и вычеркивал ненавистное слово. Местоимение «я» его просто бесило. Вычеркивал почти всегда. И был прав — фраза становилась динамичной. Был очень строг к структуре текста. Помню, как однажды он разрезал мою статью ножницами на куски, переставил их местами и склеил по новой. И я с легкостью согласилась на склеенный вариант — он просто был лучше.

Зато и хвалил он так страстно, так сердечно и восторженно, что ты принимал эту похвалу, как профессиональный орден. Правда, такое случалось нечасто.

Арсен имел право требовать. «Критикуя — предлагай», — часто повторял он. И предлагал — сам писал блестяще. Обратите внимание, как лапидарны и энергетически насыщены его очерки и рассказы — фразы короткие, слова легкие и полновесные, каждое стоит на своем месте как влитое. А текст всегда (всегда!) трогает душу и радует разум. Это тот самый случай, когда банальная фраза «ни убавить, ни прибавить» — как нельзя более к месту.

Он был невероятным ответственным и гордым человеком. Помню, однажды в журнал, каждый материал которого он правил с исключительной тщательностью, проскочила какая-то дурацкая описка. Коллектив получил справедливое замечание от руководителя. Казалось бы, ну что тут такого — бывает. Но Арсен был потрясен. Он сидел белый, как мел. Не мог успокоиться и простить себе, что недоглядел. Стоило больших усилий уговорить его не подавать заявление об уходе.

Он подарил мне свой сборник стихов спустя полчаса после нашего знакомства. Почему — не знаю до сих пор. Но считаю это честью, поскольку знаю, как нечасто и сколь немногим он презентовал свои книжки.

Арсен, конечно, был поэт — у него совершенно поэтическое, образное, метафорическое восприятие мира. Мне кажется, что в своих рассказах он не менее поэт, чем в стихах. Многие его строфы запомнились сразу и остались в памяти навсегда. Вот хотя бы эти:

И что нам до карьеры, / До жизни лет за сто, / Когда зовет к барьеру / Рабочий стол. / И гостем каменным в столице, / Не променяв духан на бар, / Царь Горгасал вознес десницу: / «Стой! Дальше — Авлабар».

Отбросьте шоры!

Не время жмуриться –

Грузинка в шортах

Идет по улице...

И медный Шота

Главой поник –

Есть в мире что-то

Сильнее книг.

Мы и глазом не успеем моргнуть, как наступит 5 июня 2016 года – день его рождения, первый, который мы отметим без него. В следующем году ему бы исполнилось 80 лет. Верю, что юбилей будет ознаменован вечером памяти и открытием мемориальной доски Арсена Еремяна – великого тбилисца, мастера слова, нашего драгоценного друга. Он слишком много отдал нам, чтобы мы не вернули ему хотя бы частичку.

СЛОВО О ДРУГЕ

Моисей БОРОДА

Мы познакомились два года тому назад. Познакомила нас замечательный человек Вера Церетели. Я приехал тогда из Германии в связи с идеей «литературного моста» литераторов Грузии и Международной Гильдии Писателей и, окрыленный только что состоявшимся разговором с Николаем Николаевичем Свентицким, сказавшим «замечательная идея, серьезное дело», зашел в редакцию и был впечатлен той атмосферой искренней доброжелательности, какую редко встретишь в напряженной редакционной жизни. Эта доброжелательность, эта врожденная интеллигентность ощущалась во всем – и в коротком, несколько слов, разговоре с Сашей Сватиковым, с Ниной Зардалишвили, и во всей атмосфере – она в буквальном смысле витала в воздухе.

Вера, которая пришла в редакцию по каким-то своим делам, подвела меня к столу, за которым сидел человек, что-то подчеркивающий большим толстым красным карандашом в лежащей перед ним рукописи, сказала:

– «Арсен, познакомься», – представила меня.

И я с первого взгляда, с первых его слов понял, что мне хочется, преодолевая естественное желание слишком долго не беспокоить занятого человека, просто сидеть и слушать. Что что-то невысказываемое словами нас объединяет. Потом, когда уже в конце нашего и вправду затянувшегося разговора угрызения совести все же заставили меня встать и попрощаться, Арсен сказал мне, что нас действительно что-то глубокое объединяет, может быть, ощущение жизни как трагедии.

На прощание Арсен подарил мне несколько своих книг, я – что-то ему из своих.

Я прочел его потрясающие эссе о спортсменах Грузии, о настоящих звездах на спортивном небосклоне – по сути, не эссе, а вдохновенные поэмы, часто – грустные, нередко – трагические.

Потом я прочел его рассказы, в которых для меня ожила та атмосфера – или уже отголоски той, которая окружала меня в детстве, атмосферы старого Тбилиси – города, который, старый ли, новый, любишь влюбленностью молодого человека, города, равного которому нет нигде на свете, который, когда ты от него отдален, колышется у тебя в душе, отдавая горечью разлуки. Старый Тбилиси оживает у Арсена в каждой черточке его лучших рассказов.

Потом я прочел его рассказ о Гроссмане. Рассказ вышел потом в Израиле – я был счастлив моей возможности опубликовать его за рубежом в серьезном интернет- и бумажном журнале – и тем откликам, которые Арсен почти сразу же получил от своих друзей из разных концов планеты (увы! разбросала нас жизнь!).

Мы стали друзьями, впрочем, может быть, это случилось уже тогда, в наше первое знакомство.

Я часто звонил Арсену из Германии, мы подолгу говорили друг с другом. Потом, в очередной звонок, я узнал о его болезни, о том, что он теперь дома.

Арсен продолжал работать – уже лежа, наверное, понимая, что путь близок к завершению.

О его болезни мы не говорили, я говорил об этом с его сыном, понимал, чем эта болезнь может кончиться.

И все же известие о его смерти меня потрясло, рвануло по сердцу.

Уход друга всегда оставляет в душе незаживающую рану. Да и как иначе – ведь только «верой в воскресенье какой-то указатель дан» – верой и надеждой на встречу там, где мы, может быть, узнаем друг друга – и может быть, опять потечет разговор в немногих словах, за которыми стоят тысячи несказанных.

Прощай, дорогой Арсен – в этой жизни. Ты был тбилисцем, был сыном Грузии – уникальной, единственной, Богом данной народу земли – данной для какой-то Ему одному известной цели. Таким ты и ушел.

Арсен Еремян

СТИХИ

QUO VADIS

Страннолюбия не забывайте;
ибо чрез него некоторые, не зная,
оказали гостеприимство Ангелам.

*Послание к Евреям
Святого Апостола Павла 13:2*

Задай вопрос себе, как странник,
Куда идти, свой крест нести.
Как под ногой тропа блестит,
Как далеки края пространные

И та земля обетованная,
Где тебя примут, не ропща,
Утрут власами твои раны,
Не осуждая каждый шаг.

Рай потерять – проделки змея,
Брести, не оставляя след,
Своих усилий не жалея,
Не сорок – много больше лет.

Неопалимый куст найти,
Извечные прочесть скрижали,
Но снова мысль тебя ужалит:
Куда идти, куда идти?

АВТОГРАФ

В бездонном небе след оставил
Бесшумный лайнер надо мной
И философствовать заставил,
Что лучше — гром или покой.

Тот след растаял понемногу,
И небеса опять чисты.
Нас происшествие не трогает,
И самолета след простыл.

И вроде шумным путь мой не был,
Так пусть уделом будет мне
Оставить свой автограф в небе
И раствориться в тишине.

ТВОРЧЕСТВО

Бессонница заела,
Все мысли невпопад,
И дождь стучит несмело,
Совсем не так, как град.

А за окном потемки
И ни души вокруг.
Я сам такой негромкий,
Допущенный на круг.

Вокруг все незнакомо,
И всем не до тебя.
Ты словно в немой коме,
А мысли теребят.

Как ждут все новых песен
И смотрят дерзко в рот,
Когда тебе невесело
И дел невпроворот.

И хочется и колется,
Не можешь — не дыши,
Вернуться б за околицу
Недремлющей души.

Там чудом слов захваченный
И упиваясь властью,
Повлю я миг удачи
И вдохновенья страсть.

И что нам до карьеры,
До жизни лет за сто,
Когда зовет к барьеру
Рабочий стол.

ПАМЯТЬ

Брату Шуře

Ты ребенком от ножей
Под тахтою схоронился.
По раскладу ворожей
Жить тебе и веселиться.

Лихо знал ты не по книжке,
Виноватый без вины,
Испытал судьбу парнишкой
С первых месяцев войны.

Смерть настигла возле Курска.
В братской ты лежишь могиле
Иль на дне в окопе узком,
Старикам не сообщили.

Службы ратной срок короткий,
А потом покой и тишь.
На меня из-под пилотки
С фотографии глядишь.

ЗИМА

Как холодно в доме.
Я к печке присел,
Как в крошечной домне,
В ней плавится ель.

Все были при деле.
Вмиг дело труба.
За гранью предела
Не стоит труда.

Ну кто же меняет
На север свой юг,
Где солнце сияет,
На тысячу выюг.

Бросать так, как Разин.
Кругов не найти.
Мосты сжечь все разом
И в зиму уйти.

Как давно в Армении я не был.
Позови меня, как сына позови.
Протяни мне теплый ломоть хлеба,
Выпеченный с проблеском зари.

Горы втиснуты в масштабы фотографий.
Резиденция твоих царей Гарни.
Чем-то мы кому-то не потрафили,
И душа по-прежнему саднит.

А потери, что в Арпе песчинки.
Все закрыт для явки Арагат,
И ковчег на склоне его льдинкой,
Не сойдет со стапеля назад.

Как давно в Армении я не был.
Сердце вроде потерял в горах.
С гор легко дотронешься до неба,
По атлантам меря свой размах.

СОПЕРНИКИ

*Влюбиться можно за эти стихи.
Из разговора*

Не влюбились в поэта,
А в его же стихи.
Может статься, поэтому
Я заметно притих.

Где же тут справедливость?
Я срываюсь на крик.
Так скажите на милость,
Фактам всем вопреки.

Ночь убита рассветом,
Небо жжет кумачом.
Вы влюбились в поэта,
И стихи ни при чем.

Деньги все же пахнут
бензином
кровью
горем
жирной столовой
комнатой где кто-то болен

Нет в своем отечестве пророка.
Зная это, зря не суетись.
От труда не жди большого прока,
Не смотри на факты сверху вниз.

Жизнь проходит тихой сапой будней.
Где вы, рая впереди врата?
Судя по всему, наградой будет
Сдержанная похвала врага.

Нет в своем отечестве пророка.
Кто-то вознесен, а кто-то сник.
Но тебе воздастся ровно столько,
Сколько вещи раскроют сны.

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

Загородили, понастроили
И перекрыли все пути.
Свои могилы я, расстроенный,
Так долго не могу найти.

Сирень снежком бросает в лица,
Цветы весной ликуют тут.
И умереть или жениться —
И что за цель и что за труд.

Хлопочут женщины спесивые
Среди надгробий дорогих,
И молодые и красивые,
Как свежи голоса у них.

Не узнаны, не узнаваемы,
На этой ярмарке спешим,
Вином стаканы наполняем мы
И улыбаемся живым.

ЗАВИДУЮ ВЕТРУ

Ветер грубо ласкает деревья,
С плеч сорвав их девичий наряд.
Слышу я, как о чести потерянной,
Словно сплетницы, галки галдят.

Стать бы снова беспечным, как ветер.
Спутать все, что могло быть и было.
Отличиться в глазах всего света,
Чтоб меня никогда не забыли.

Забыли.

ОДИНОЧЕСТВО

Я умираю без тебя,
и ты не знаешь,
что наша жизнь не театр,
а шутка злая.

Как пусто стало на земле —
Шекспир не нужен.
Смерть реплику бросает мне:
«Прерви свой ужин».

Ты не услышишь мой ответ,
угасший в шуме.
И не спеши, меня уж нет.
Я, знаешь, умер.



ДОМИНАНТА

«Полюбуйтесь на этого хулигана!» Одишария Пифагоровы штаны бросил мел, которым стучал по доске, выводя формулы, подошел к окну. Он наконец увидел то, за чем заинтересованно следил весь класс, - свидание Омарова с Томой, самой симпатичной девчонкой соседней школы. Шура только что стал чемпионом города, купался в лучах славы. В вестибюле женской школы она напомнила о себе дождем записок с объяснениями в любви. Придумавшие раздельное обучение бесполье наробразовские чинуши были посрамлены. Весна превратила в райский сад узкую полоску ничейной земли между дворами и скалой, с грудками щебенки, ржавыми железками, постыдными человеческими отправлениями, бросила слабую, податливую плоть в сильные, годами тренированные руки, привыкшие ломать сопротивление.

Они приблизились к стальной трубе, - считалось особым шиком съехать по ней с Комсомольской аллеи, поеживаясь от страха, - зашли за кирпичную кладку, недоступные взглядам, как темная сторона луны, а мы, далекие от консультации по математике, от предстоящего экзамена, ревновали и тревожились за Тому, держа в уме его шоковую откровенность: как он со знакомым,

имевшим не одну судимость, встретили за городом двух сельских девчонок и, угрожая ножами, затолкали в Коджорский лес, где, соревнуясь в скотстве, оживленно переговариваясь и торопя последний миг, позабавились ими.

«Сумароков на война, Одишария больна, на телефоне Сара».

Как часто вспоминалась из школьного фольклора сорок третьей эта фраза уборщицы в гулкой немоте учительской. Сумарокова в школе мы не застали, он начальствовал в летном училище, удостоился генеральского звания, но уровень учебного процесса, поднятого им на небывалую высоту, долго оставался образцовым. В круговерти годов и событий стерлись в памяти подробности, и не легко ответить на вопросы шутивой викторины выпускников знаменитой тбилисской школы: вспомнить имя и внешность старика, сололакского жителя, - он имел собственное знамя и за умеренную плату шел с ним во главе похоронной процессии, - и как звали, к примеру, чистильщика обуви на улице Кирова.

Одно из самых ярких впечатлений - подготовка к парадом и демонстрациям народного ликования. Гордость школы духовой оркестр, обязанный своим рождением маэстро Николаю Чичинадзе, могучим легким двух дюжин ребят, положенным в общий котел нашим кровным десяткам, становится впереди школьной колонны, которая строевым маршем стекает вниз по улице. Охрипший от команд физрук забега-

Арсен Еремян
ПРОЗА

ет вперед, припадая на правую ногу. Гремит медь оркестра, мельтешат голые коленки, сотни ног печатают на асфальте четкий шаг. Нежный, как девушка, запевала из нашего класса заводит песню: «Летят перелетные птицы». Колонна дружно отзывается: «В штанах». Нам знаком этот нехитрый фокус. Расстояние в двести метров до женской школы, в чьих окнах свешиваются любопытные головы, — они начинают движение после нас — надо пройти так, чтобы на музыкальную фразу запевалы: «А я остаюсь с тобою» радостно выкрикнуть в сотни глоток: «Без штанов». Бедный Исаковский! Бедный Блантер!

Теперь мимо моего дома топаем вдоль по набережной, чтобы надолго застрять в районе госцирка, всецело завися от сценария распорядителей праздника. Если повезет — школа, гремя агалкинским маршем «Прощание славянки», идет мимо правительственной трибуны — угрюмо-равнодушных лиц с нахлобученными на уши шляпами, но чаще музыкантов забирали в сводный оркестр, сводя дело к обычной уравниловке. Последние сотни метров проходим на Пушкинской улице, как стадо баранов. На Колхозной площади ненужные знамена летят в раскрытые чрева грузовиков.

Жизнь оказалась много сложнее нескольких стаканчиков, пропущенных в винном погребе на Майдане, где у дяди Сандро всегда имелось неразбавленное саперави. Крайне редко шел я на традиционные встречи в Тбилиси и Ереване, на апрельские торжества, к чему нас обязыва-

ет школьный устав. Но всегда волнуясь, оказавшись волею судеб возле трехэтажного здания с высокими окнами, со следами на фронте бывшей надписи: «Мантасhevская торговая школа», вспоминая, какими мы уже не будем.

Александр Николаевич Пампалов, наш учитель пения, обладал редким даром рассказчика. В его изложении либретто оперы об истории любви египетского полководца и черной рабыни, дочери эфиопского царя, обретало библейскую поэзию и мудрость, отравляя на всю жизнь сладким дурманом творчества.

Неистощимый на лабораторные выдумки милейший Яков Иванович Костава, во славу периодической системы Менделеева, однажды едва не превративший нас в прах, взорвав на уроке адскую смесь собственного приготовления.

Неизменно корректный Ник-Ник Тавдгиридзе никогда не прибегал к конспектам и классному журналу, рисуя в записной книжке одному ему понятные знаки, очерчивая на доске одним взмахом руки идеальную окружность, под общий вопль восторга.

Елена Георгиевна, урожденная княжна Туманова, приобщила к книге не одно поколение лауреатов и генералов, профессоров, агрономов, авиаконструкторов, писателей, журналистов, юристов, врачей, музыкантов, художников. Это Елена Георгиевна изготовила стенд о своих учениках: с черной обугленной доски, с опаленных огнем листов бумаги смотрят на сегодняшних не-

смышленишей мальчишки, кто навечно остались семнадцати-восемнадцатилет, сгорев в самолетах и танках в первые дни войны, и среди них неожиданно — лицо нашего первого завуча Нины Антоновны Добрыни фотографией ее сына.

Зара Юрьевна Мусиева завуч и педагог русского языка и литературы, после выпускных экзаменов удивила меня советом поступать в технический вуз, а когда я этому воспротивился, сделала запоздалое признание: «Из-за тебя я чуть было не ушла из школы».

Помню педсовет, грозный, немолчаливый, как суд жрецов в «Аиде», себя, опасную скверну, от которой следовало немедленно избавиться. Но почему она все эти годы молчала?

Педсовету предшествовала контрольная работа по основам дарвинизма. Писать я ее отказался, считая бесполезной в данной дисциплине, о чем откровенно сказал Ивану Павловичу, за откровенность удостоился единицы в журнале, был выставлен в коридор, где очень некстати попался на глаза директору школы. Попыхивая знаменитой трубкой, важный и безволосый, как слон, он прохаживался мимо прилежащих классных комнат, приторно слащавого афоризма Лаврентия Берия на стене: «Героизм и мужество школьников — это учеба на отлично» и, конечно же, постарался раздуть из этой самой по себе неприятной истории пламя возмездия, перед которым померк бы московский пожар 1812 года. Райком комсомо-

ла решение об исключении, ясное дело, не подтвердил.

Последняя четверть кончалась. Не будучи аттестованным по предмету и предвидя страшную месть, готовлюсь подорожке продать свою жизнь. Для начала одолжил на вечер учебник, которого на весь класс было несколько, прочел от корки до корки.

Кавтарадзе вызвал меня первым, предупредил, что задаст три вопроса, и я вышел в открытое море удивительной науки биологии, любимой давно и беззаветно, с неистовством первой любви, которой собирался заняться всерьез, в чем меня поддержал приехавший домой на побывку мамин брат Василий, впервые мной увиденный, в тридцатых годах сосланный на пожизненное поселение в Вятку.

Скоро он почувствовал себя уютно в малознакомых местах, взял себе в спутники молодого зрителя станционных часов — работа непильная и соответственно низкооплачиваемая — в губернском городе Козлове, который тогда еще не был Мичуринском, узнавая его мечту покрыть садами родную Тамбовщину. В одном из них, таком малом, что на него можно было накинуть его форменную шинельку, он высмотрел скромную светловолосую девушку, которая, распевая, возилась с цветами, радуясь солнцу и утру. Он просил руки маленькой певуны и получил согласие, найдя в ее лице восторженную поклонницу и крохотный сад для опытов. Как часто бывает, сначала он мало знал, смутно

представляя себе то, что со временем свяжут с его именем, назовут методом отдаленной гибридизации, а пока заглядывался на плодовые деревья за высокими оградами богатых усадеб, угощался яблоками, когда угошали, пряча украдкой в карман огрызки с драгоценными семенами, пока его не уличили, после объяснения нарвали разных яблок кулек, охотно рассказали о прививках. Он остановил свой выбор на яблоне китайке, низкорослой и неприхотливой, ее кривобокие плоды проигрывали рядом с безупречными формами аристократок — бельфлеров, шафранов, ранетов, кандилей, но могучие жизненные силы, угаданные им в дурнушке-простолоудинке, неизменно побеждали в споре родительских пар, давая высокоустойчивое потомство.

«Доминанта!» — сказал Иван Павлович и торжествуя посмотрел в притихший класс.

Как жаль, что гордые слова мечтателя из сонного Козлова о невозможности ждать милостей от природы, призыв взять их у нее, объявленный чуть ли не всенародной задачей, — мне кажется, он сказал это, не подумав, — были превратно истолкованы приспособленцами от науки, бездумными авторами рукотворных морей, на дно которых ушли божии храмы, деревенские погосты, старинные поселения с улицами, по которым гуляют волны. Результаты апокалипсические, как это было с другим, не менее известным тезисом буреви́стника революции: «Если враг не сдается, его уничтожают»,

оприходованным ежовщиной.

Иван Павлович тогда спросил, известны ли мне имена селекционеров-дарвинистов на Западе. Первым называю Лютера Бербанка, прошедшего долгий путь познания, признавшего в горькую минуту, что ему пора открыть дровяной склад.

«Сегодня ваш класс сделал мне подарок, — Кавтарадзе не пытался скрыть волнение, — это самый счастливый день в моей жизни».

И теперь, через много лет, в трудные часы разочарования и слабости, черпаю силы в уроке нравственности и великодушия педагога, ставшего выше собственной обиды доминантой добра.

Потом по моей просьбе он написал для классной стенгазеты совершенно блестящую статью, которую перепечатали в школьной газете. Она сделала бы честь толстому столичному журналу, — что-то вроде наказа молодежи, вступающей в жизнь, не похожая на заветы вождя, лысого и картавого, вещавшего делегатам третьего всероссийского съезда комсомола в октябре 1920 года о коммунистической нравственности, уже к тому времени полно себя выразившей. Многие делегаты съезды косарева призыва поплавились за нее жизнью.

Осталось загадкой, откуда пришел к нам в школу, никогда не испытывавшую недостатка блестящих педагогов, этот ученый человек, сочетавший специальные знания с литературным мастерством, как нашел он добрые, человеческие слова,

смело цитируя, сакраментального Ивана Петровича Павлова, великого старца, распинаемого в те годы средневекового мракобесия, странной войны с вейсманизмом-морганизмом, щедрых посулов шарлатанов, обещавших молочные реки в кисельных берегах; и сегодня несть им числа.

Мы хоронили Ивана Павловича через одну весну, первого педагога, чья смерть застала нас в школьных стенах, растерянные, шли по пустой улице, перекрытой от транспорта, нетвердо зная, что еще уготовит нам жестокая жизнь.

«Сумароков на война, Одишария больна, на телефоне Сара».

Для кого-то это смешная история из школьного фольклора, несвязный разговор бедной уборщицы, вынужденной отвечать на телефонные звонки в опустелой учительской далекой военной поры, а я вижу ее как живую.

В войну мы приносили из дома по квадратику детской хлебной карточки, за него в школьном буфете выдавали маленькую булочку землистого цвета. В тот день случилось ужасное: я потерял хлебный квадратик, право на дневной паек, и тогда Сара, чей единственный сын так и не вернулся с войны, наша малограмотная Сара, над кем до сих пор незлобно подшучивают, дала мне булочку, свой пайковый хлеб, собственно говоря, незнакомому мальчику, так просто решив для себя государственную задачу: все лучшее — детям.

СОБАКА И УЛИЦА

Собака ни о чем не подозревала. Она сломя голову гонялась за воробьями, потом оказалась рядом с пьяным, и он ударил ее ножом. Отрывистый лай, в котором захлебнулась боль. Пьяный, хватаясь за стену, пошел по улице. Он сыпал проклятиями, словно его отвлекли от важных дел. Собака осталась на мостовой, ей неудобно на острых камнях, но трудно разгуливать с порезанным горлом.

Я вижу глаза собаки, затуманенные страданием.

— Держитесь подальше, — предупреждает незнакомая женщина, — собака может укусить.

Я слышу топот множества ног — к собаке спешат любопытные. Они боятся опоздать, ведь не часто на улице ножом ударяют собаку. Ударяют так удачно, что собаке не выкарабкаться. Потом они стоят рядом и смотрят на темную струйку, которая стекает на камни. Голова собаки бессильно откинута набок. Она вздрагивает всем туловищем, и тогда струйка стекает быстрее. По мостовой расплывается темное пятно. Когда у собаки вытекает столько крови, ей крышка. И всем любопытно взглянуть на собаку, которая цепляется за жизнь. Люди тесным кольцом окружили собаку, и запах крови щекочет им ноздри.

Я смотрю на умирающую собаку, и беспокойство мое растет: с минуты на минуту подойдет Мадо. Я медленно иду к дому. Солнце бросает мне в спину сотни сверкающих ножей, они кусают кожу и не причиняют вреда. Нож пьяного острее, он пригвоздил собаку к пыльной мостовой. Я поднимаюсь на второй этаж. Как много ступенек у короткой лестницы. Я преодолеваю ступеньки и попадаю в комнату. Дверь с грохотом захлопывается за мной, со страшным ударом, после которого все кончено.

Я прислушиваюсь к голосам снаружи. Я слышу шаги на пороге моей комнаты. Нас разделяет глухая дверь.

— Почему вы позволили ее убить?

Это Мадо, бывший портной. Он живет в комнате, выходящей на мостовую. Никто не знает, откуда пришел Мадо, из какой сирийской пустыни, остался один как перст, и это считают не в его пользу. Мадо спрашивает, почему мы позволили убить собаку. Я отвечаю молчанием. В моей комнате умирает собака, и Мадо ждет ответа за закрытой дверью. Я многое мог бы рассказать о собаке, но молчу. Мне трудно говорить со стариком. Никто на нашей улице не помнит, чтобы к старику кто-либо приходил. В середине месяца забегал почтальон. После его ухода Мадо шел в гастроном. Он жарил яичницу и смотрел, как собака ест. И это видела наша улица. И люди удивлялись, что собака ест, а старик только смотрит. У Мадо подозрительно блестели глаза, но ведь к

старости глаза сами собой начинают слезиться.

Теперь собака умирает на мостовой, и старик спрашивает: за что? Мы были хорошими соседями, и он спрашивает, почему мы позволили.

Я падаю на постель, зарываясь лицом в подушку. Пойманной птицей в руке трепещет пульс, и подушку швыряет из стороны в сторону. Я слышу глухой шум толпы. Я вижу мостовую в крови. Толпа нетерпеливо напирала. Все мои соседи вышли на улицу. Мы были хорошими соседями, нас связывают годы дружбы. Я вижу своих старых партнеров по футболу. В детстве мы играли в футбол на мостовой. На мостовой умирает собака, умирает на футбольном поле, и никто не знает, сколько ей осталось жить. Толпа напирала, смотрят с интересом, обмениваются репликами. Смотрят, как занимательный фильм, историю одной собаки. Смотрят мультфильм, рисованный кровью. И все смотрят.

Кто-то идет по улице и упирается невидящими глазами в таксофон. Скорая обещает помочь.

На улице появляется машина кремового цвета. Взвизгнули баллоны, как собака, которой раздавили лапу. Из машины выходит человек в белом и спрашивает, кто умирает на нашей улице. Его подводят к несчастной собаке, и собаке уже не гоняться за воробьями.

В комнату вползают сумерки. Ритмичный стук за стеной, это соседи, распаленные жарой и ничегонеделаньем, кинулись в любовное беспамятство.



ОЧКИ НАДЕНЬ

Я выхожу на улицу, забитую народом. Я думаю о Мадо. Старик вешает на дверь игрушечный замок, и его можно раздавить ладонями, как грецкий орех. Сейчас дверь в комнату распахнута, но старика не видно, он там, на острых камнях.

Улица растворилась в темноте. Темнота, одна темнота. В темноте бегут люди. Они натыкаются на меня и вскрикивают от неожиданности. Собака мертва и спешить им незачем. Этим людям здорово не повезло — вечерний сеанс отменен, но они не подозревают об этом. Они подошли, когда все кончено. Но люди пока не знают, им не терпится увидеть собаку. И люди пока не знают. Не знают, что все кончено. Не знают и бегут по темной улице.

На нашей улице убили собаку.

«Почему я не сломал ногу, поднимаясь на третий этаж, — сказал в сердцах Артем, — когда на первом такие невесты были?» Это запоздалое прозрение в последнее время нередко осеняло его. Говоря так, он намекал на несложившуюся личную жизнь. Бывает жена, говорила моя бабушка Нина, что дом построят, а другая — разрушит. Артем, видно, сделал выбор не в стане строителей, забыв, что миловидность обманчива и красота суетна.

Сейчас он сидел на балконе, в этот час истины, когда августовская духота выгнала наружу соседей Хлебной площади. Они хором судачили, посвящая посторонних в свои заботы и беды, древние, как дома нашего заповедного района, чья охрана осуществлялась государством деликатно, ненавязчиво, а со временем стала совсем незаметной. А охранять было что. Взять хотя бы соседнюю Петхайнскую улицу-лестницу, редкую в своем роде. Мало кто о ней в городе слышал, не то что в Америке или в Европе. Она уступает в популярности всем этим историям вокруг Пизанской башни, падающей, как девчонка на материнских туфлях, или гибели «Титаника», который в настежь распахнутых просторах Атлантики не сумел разойтись с ледяной горой с такой еврейской

фамилией.

Я как-то проверил, спросил про улицу у знакомого писателя, автора книг о Тбилиси. Он заинтересовался и даже покинул на время свой великанских размеров редакционный кабинет. Сели мы с ним в номенклатурную черную «Волгу» и в пять минут оказались у подножия невидимой улицы, но неожиданно с низких небес посыпался холодный осенний дождь, и знакомство с достопримечательностью нагорного квартала пришлось отложить до лучших времен.

Или мы в самом деле ленивы и нелюбопытны.

Улица-невидимка карабкается по склону Сололакского хребта, к маковке Петхаинской церкви, традиционного центра праздника Успения Божией матери.

В начале века большевики устроили под самой горой конспиративную квартиру в дарбази (прим. один из древнейших типов грузинского жилища) с плоской земляной кровлей. Молодежь здесь обучали пистолетной стрельбе. Священник церкви тогда не знал, что окаянные соседи, забыв о Боге, через десяток лет силой обратят всех в свою веру Карла Маркса, и всячески им помогал; когда понадобилось помещение для конференции, предоставил свой дом всего за двадцать пять рублей. Соседи выделили людей для охраны делегатов и патрулирования, но филеры не зря ели хлеб. Вскоре стало известно о провале конспиративной квартиры, была команда всем уходить. Делегаты разошлись, в спешке

оставив шляпы, и они попали в руки фараонов. Доставленный в полицию священник утверждал, что шляпы остались от покойников, которых он хоронил, но ему не поверили и сослали в Сибирь, где он умер.

Такая вот грустная история, как в старом анекдоте об аресте чекистом пассажира поезда с фамилией Райхер, в которой зашифрованы обещанный большевиками рай на земле и нечто из трех букв, полученное взамен.

О пострадавшем за большевиков священнике я узнал от монашек соседнего Девичьего монастыря. Христовы невесты Рипсимэ, Катарина и Нина, все еще красивые, особенно младшая сестра Нина, были из старинных тифлиских купеческих семей, большие охотницы кофе с молоком. Он подавался к столу в гарднеровских чашечках фисташкового цвета вместе с рассыпчатым печеньем «хворост».

Перед Светлым Христовым Воскресением сестры приносили краски для пасхальных яиц, с ангелочками на золотистых пакетиках. В последний раз я их видел в нашем доме на панихиде по моей матери, которую они взяли отслужить, посчитав своим христианским долгом.

О «Титанике» вспомнилось неслучайно. В конце концов все оказывается связанным самым невероятным образом, стоит только присмотреться к несовместимым, на первый взгляд, вещам. Среди пассажиров, спасшихся после столкновения с айсбергом, был наш зять Володя, который уцелел по той при-



Арсен Еремян



В студенческие годы



С родственниками в Гарни



В редакции «Вечернего Тбилиси». 1960-е гг.



На встрече выпускников 43-ей школы



Супруга Генриетта



Внук Арсен



Сын Левон и невестка Лейла

чине, что не достал билет на тот гибельный рейс, а взял на следующий, без приключений доплыл до берегов Америки, изучал сталелитейное производство на востоке страны, приобрел фундаментальные знания, что ему припомнили в тридцать седьмом году, оторвав от жены, трех детей и литейного завода имени Камо, присудив десять лет без права переписки, а попросту говоря, пулю в затылок. Вредителем или шпионом он не был, потому что получать высококачественное литье из дырявых, ржавых лоханок не умели ни у нас, ни в Питтсбурге, да и кто его слушал. Успел только сказать знакомому оперативнику, когда вели по тюремному двору: «Передашь Артему, что меня расстреляли».

Нашего зятя больше никто не видел. Трагическим предвидением оказалось его любимое: «Когда я в гробу лежал, никто меня не оплакивал». И гроба у бедного не было, разве что нещедрая горсть негашеной извести.

Артема известие это не подкосило. Крепок он был как камень, похвалялся, что в молодости пули глотал, когда в него стреляли в упор, покупал драку за деньги, уважал бокс и мог продержаться один раунд против чемпиона страны в тяжелом весе Андро Навасардова, который работал шофером в их гараже.

Потому две войны прошел без единой царапины, видно, пуля для него не была отлита. С годами он сильно сдал. Старый и беспомощный, сидел подолгу на балконе, невольно слушая уличные откровения

молодой жрицы любви Аиды, убнис хайтараки (прим. позор района (груз.-арм.), которая уже не видела большой корысти от древнейшей профессии и думала заняться спекуляцией, а также ленивую перебранку одуревших от жары инкассатора Сергея и его соседа шофера Ваника. Судя по долетавшим репликам, разговор шел о Сережиной дочери. Ей грозила какая-то опасность. Когда красивая Лера, сверкая полными икрами, взлетала к себе на верхотуру по крутой винтовой лестнице, ее тяжелые груди под откровенной нейлоновой блузкой трепыхались как гандбольные мячи. В этот миг она святого могла ввести в искушение, не только нас простых смертных, и это не на шутку тревожило ее отца.

«Вчера вас видели вместе в кинотеатре на Католической улице», — ходил Сергей с козырной карты. «Ты меня за болвана держишь, — лениво отбивался Ваник, — виданное ли это дело, распечатать такую красавицу за билет на «Аршин мал алан?» — «Сказки мне не рассказывай, — горячился Сергей, — не оставишь ее в покое, так тебя по кусочкам потом не склеют».

Такая угроза могла смутить кого угодно, только не Ваника, отчаянно-го вряля и первого драчуна — одним ударом сбивал с ног крепких мужчин на Хлебной площади, которая издавна развлекалась кулачными боями. Это на нашей площади побили Александра Дюма в 1858 году, когда он ради своего удовольствия приехал в Тифлис.

Причиной нелюбезного обра-

ния с экстравагантным романистом могла быть женщина. Высокий, полный, пышущий силой, весельем и здоровьем Дюма слишком доверчиво принял на веру свидетельство голландского путешественника Яна Стрейса, полагаясь на его принадлежность к нации, известной хладнокровием и нелегкой воспламеняемостью. Написанные в Амстердаме в 1681 году в начале царствования Короля-Солнца Людовика Четырнадцатого, превосходным слогом, достойным Жентиль-Бернарда, поклонника женского пола, через два столетия дошли до автора «Графини де Монсоро» глубокомысленные уверения Стрейса, будто кавказские женщины, имея прекрасные внешние данные не жестоки, не боятся любезностей мужчин, к какой бы нации мужчина не принадлежал, и если даже он подходит к ним или касается их, они не только не отталкивают его, но сочли бы за обиду помешать ему сорвать с них столько лилий и роз, сколько нужно для приличного букета.

Милый, доверчивый, как ребенок, Дюма совсем нехотел проявить интерес к кавказской «флоре».

На этой версии особенно настаивал Артем. Соглашаясь с Кипплингом в том, что знатная леди и Джуди О'Греди во всем остальном равны, сам терпеть не мог козлов, норовящих забраться в чужой огород.

Помню переполох в доме — приехал на пару дней Артем со своим другом капитаном с неподходящей для фронтовика фамилией Могильный. В большой комнате сели за

стол те, кто ковал победу, и не особенно рвущиеся на передовую близкие родственники, наш героический тыл, атаковав с ходу выставленные закуски под огневой разговор «Рио-Риты».

Начало ссоры я пропустил, когда хвативший лишнего Артем рвал непослушными пальцами кобуру, откуда фронтовой друг предусмотрительно вытащил пистолет, но щегольский браунинг в руке чернявого родственника увидел. Родственник ворочал шальными деньгами от халтурных ездов своих машин, собирав блинные стопки пластинок запрещенного Петра Лещенко, всегда имел при себе шоколадные конфеты и хранил дома в чемодане, отчего они пахли клопами, как уверяли его пылкие поклонницы, в туалетах от Саши-портного, тбилисского Валентино тех лет. Еще не остыв после исподволь разгоревшейся ссоры, он угощал всех конфетами, и мне, в чью комнату от греха подальше увели родственника, достался один «мишка» давно забытого вкуса.

Артем уехал так же внезапно, как появился, обиженный на всех, а больше всего на жену, которую это нисколько не задело. Она не очень обрадовалась и удивилась, получив телеграмму из Батуми. Муж писал, что их воинский эшелон проследует через Тбилиси и просил встретить. Анна весь день жарила и пекла, как на Маланьину свадьбу, но в последнюю минуту раздумала брать корзину с едой, взяла бутылку водки.

Увидев жену с пустыми руками,

как у солдата при отступлении, Артем не удержался от упрека: «Эх ты... мы двое суток не ели». Подошел Могильный, забрал без лишних слов водку, отбил белую головку о вагонное колесо и тут же на путях запрокинул бутылку над головой. Проводив мужа на Дальний Восток, Анна вместе с родней в один присест умяла ужин фронтовиков, поела, обтерла рот свой и говорит: «Я ничего худого не сделала».

Мечту об идеальном союзе любящих двух сердец Артем пронес через молниеносную войну с японцами, вернулся домой с тяжеленными чемоданами, что окончательно лишили Анну рассудка. Она снова заважничала, близких родственников представляла подругам, как обыкновенных соседей, считая не ровней себе.

В унесенных с войны чемоданах, среди шелковых отрезов и покрывал с райскими птицами, было десятка два фотографий узкоглазых красоток, экзотичных, как принцесса из андерсеновской сказки, целующаяся со свинопасом, с удивительно красивыми ртами, не знавшими хирургии, посредством которой женщинам последующих поколений вживляли прокладки силикона, для придания губам неотразимой припухлости. Но те, военной поры, были натуральные, как мать родила, жены японских офицеров, диковинные трофеи победителей.

Анну такое объяснение не удовлетворило, она порвала фотографии чужих жен, за исключением одной. Артему удалось ее спасти исключи-

тельно из эстетических соображений.

К тому времени в нашем фронтовом городе появились первые японские военнопленные. В отличие от немцев, они носили меховые шапки-ушанки и занимались ремонтом улиц.

Оборудованные под убежища подвалы понемногу начали убирать от военного хлама. Был такой склад на нашей стороне улицы. Однажды к нему подогнали грузовик, в кузов стали забрасывать запыленные противогазы. Подошли мальчишки, не смело попросили противогазы.

Скоро на нашу улицу пришли мальчишки со всего города. Они тащили противогазы, как дохлых кошек. Жестяные коробки гремели по мостовой. Прохожие улыбались, готовые верить, что этим мальчишкам не надевать противогазы, не стрелять в своих сверстников. Так мечталось в послевоенные сороковые.

На улице догорал августовский пожар.

«Очки надень, — сказал охрипший от спора Ваня. — Пальцем я до твоей дочки не дотрагивался. Целая она и невредимая, как в швейцарском банке».



ТЕНЬ ОТЦА ГАМЛЕТА

Часы принадлежали отцу — золотые, массивные, хотя и не такие большие, какими казались в детстве. Настоящая семейная реликвия, с которой родители не расставались ни в военные годы, ни позже. Мне нравилось их разглядывать и, отколупнув крышку, читать на горячей холодной жаром поверхности затаенную вязь факсимиле мастера: Павел Буре, поставщик Его Императорского Величества.

Что-то родное, навсегда утерянное, связывалось с этим старинным хронометром, как с фотографиями семейного альбома, на которых отец с приятелями на мосту через речку и возле дворца, в легкой коляске великого князя Александра Михайловича. На фотографиях отец молод. Монументальный кучер без особого труда сдерживает для фотографа пару горячих лошадей, и даже развязно облокотившийся на заднее колесо местный мальчишка, которого настойчиво гнали из кадра, несколько его не портил.

«Хей гиди Абастуман» вспомнилось ностальгическое выражение старшего поколения, когда после смерти отца понадобились деньги.

Не без колебания я решился расстаться с отцовскими часами, на которые в семье сохранялось табу; вместе с невестой друга пришел в

пункт скупки на Пушкинской улице — узнать хотя бы их приблизительную стоимость, не рискуя оказаться обманутым. Обман исключался присутствием моей спутницы, заместителя директора ювелирторга, и, главное, порядочностью немолодого мастера, которая прямо-таки была написана у него на лице.

Услышанное обескуражило: цена на презренный металл, за который гибнут люди, в то лето установилась низкая — я мог выручить сумму не более месячной зарплаты служащего, но выбора не было. По совету мастера эти карманные часы следовало продать не по весу, а кому-то из врачей, кто использует их в качестве хронометра. Говоря так, он вскрыл механизм, не спеша вычистил щеточкой, а от предложенного гонорара отказался.

Я знал, что делать. Среди спутников редакции, из того окружения, каким со временем они неизбежно обрастают, как дно корабля ракушником, был знакомый виолончелист с Земмеля Гамлет, который до пяти раз на дню мог повстречаться вам на проспекте Руставели, где обычно пробегал с громоздким инструментом, задевая за ноги прохожих, а по вечерам подрабатывал на панихидах, пока магнитофонная монополия похоронного треста не перекрыла источник дохода.

Отец Гамлета, часовщик, в одно время был обижаем райисполкомом, который очень хотел отсудить помещение мастерской в пользу соседнего магазина, несколько не церемонясь и не скрывая личной

заинтересованности. Написав в редакцию, Гамлет, во многом с моей помощью, благополучно отбил от незаконных притязаний на его недвижимость.

Он взялся свести меня со своим отцом, к слову сказать, хорошо знакомым с маркой «Павел Буре».

Я был представлен как друг семьи. Часовщик вертел часы так и этак, а потом отложил в сторону, обещав завтра сменить завод механизма, о чем его не просили. За эту операцию пришлось выложить три рубля; еще три, последние, у меня выманили за чистку часового механизма, который якобы давно не чистили. Говоря так, хозяин дома не сомневался в моем полном неведении, забыв, что постыдная прибыль хуже убытка, и расходясь в этом мнении с Публием Сиром. Мне дела нет до древнеримского поэта, жившего две тысячи лет назад; было стыдно, хотелось поскорее уйти.

Часы пришлось сдать в скупку по весу, как лом, так что с самого начала не имело смысла их чинить и чистить.

Я потом ушел из газеты, надолго сменил место и характер работы.

Как-то в книжном магазине, напротив оперного театра, покупаю справочник металлиста для сына и слышу: меня зовут. Гамлет собственной персоной. Лет десять не виделись. Жизнь его порядком потрепала: глядя на него, не скажешь, что он писал рецензию на концерт Исаака Стерна.

Не сразу понимаю, что от меня требуется. Оказалось, всего-навсе-

го три рубля. На этот раз для покупки нового дверного замка в доме, где меня когда-то так беспардонно облопошили. Не поверив в басню про воров и взломанную дверь, все же даю деньги. Они, скорее всего, нужны на другое. Виват, пьяницы!

Я шел домой и думал, что дети в самом деле сильны своими родителями, и это справедливо не только в части материального достатка семьи, но и всего уклада жизни, того нравственного стержня, что от рождения заложен в человеке.

Я чувствовал себя богатым и отомщенным.



ЗАВЕЩАНИЕ ГРОССМАНА

...ибо спасение от Иудеев...
Евангелие от Иоанна 4:22

Утром их не накормили, вытолкали прикладами автоматов на ампельплац и, наскоро пересчитав, погнали в ближний лес. Конвоиры незлобно покрикивали на овчарок. Собаки заливались лаем, бесновались от барачного духа колонны, настороженно слушали паровозные гудки. Лес насквозь прошит железнодорожными строчками, бегут к славутскому лагерю невольничьи поезда. Спешат мордастые конвоиры — сотня качающихся от слабости людей подлежит немедленной лик-

видации.

Обреченная колонна бредет осенним лесом, шаркает опухшими ногами по мокрым листьям. Каждый занят невеселыми мыслями и мало похож на Гензеля и Гретель, не теряющихся детей бедного дровосека, заведенных судьбой-мачехой в лесную чащобу, откуда не выбраться. А жизнь страшнее этой свирепой немецкой сказочки. От белых камешков их избавили сразу по приезде в лагерь, теперь в карманах ограбленных людей не найти хлебных крошек, которыми они могли отметить свой крестный путь.

Она шла вместе со всеми, не спеша и не отставая, ранним сиротством, несвободным бытом за проволокой наученная, что смерть приходит, не спросясь. Мобилизованная с третьего курса на второй день войны, привычно работала медсестрой — вытаскивала раненых из-под огня, перевязывала в пещерах и блиндажах на прибрежных керченских откосах; после майской трагедии, когда их стрелковая часть попала в окружение и земля горела от зажигательных бомб, была брошена в лагерь, на допросах подвергалась пыткам и унижениям, бита смертным боем в карцере, но не смирилась, продолжала лечить лекарственными травами — это умение унаследовала от отца врача — обратила на себя внимание подпольщика, заведующего райздравотделом Козачука; через местную жительницу Софью Василевскую, партизанскую связную, переправляла в лес медикаменты и перевязочные

материалы; узнавала местонахождение складов боеприпасов и продовольствия, время прохождения воинских эшелонов, национальность охранников на караульных постах — немцев, мадьяр, румын. За каждую переданную на лесную базу записку и выход из зоны по фальшивому аусвайсу грозила пуля, но Бог мил — в лагере ее ни в чем не подозревали. Только сейчас она в одной колонне с евреями, куда попала из-за цвета волос. И это озарение пришло к ней, прежде чем пригнали их к проклятым рвам, вырыли их несколькими днями раньше такие же заключенные.

Поняв это, ее тридцать молодых лет громко возопили против чудовищной несправедливости, присвоенного одними людьми права пролить кровь других, из ее груди вырвался крик: «Ва ворек уриа до мушени око домхритат?» (прим. Не еврейка я и почему меня должны расстрелять? (мингр.).

Столько боли и молодой силы, бездумно убиваемой, было в этом вопле затравленного существа, что ее услышали все евреи в мертвом лесу — бедные дети Израиля. Перед каждым разверзлась бездна, и ангел смерти Малэхамовес, с огненным мечом и тысячью глаз, довольно рассмеялся им в лицо. Они поняли, что уже никогда не родят младенца, не прижмут к материнской груди, защищая от множества бед, которые ему грозят со дня рождения, не дождутся внуков, не посмотрят в их чистые глаза, не погладят шелковые волосы, не откроют священные кни-

ги, не будут соблюдать субботу покая, не наденут все новое к празднику Песах, не возьмут в умелые руки портняжную иглу и чаровницу скрипку Гварнери, не сыграют свою «бессмертную» шахматную партию в старом, добром стиле романтиков прошлого века, не будут давать уроки французского и немецкого своим и соседским детям, не пропишут нужного лекарства в аптеке, не помогут страждущим, обратившимся к ним за помощью, потому что обращаться будет не к кому. И зная, что сейчас их станут убивать, эти пасынки истории, сыны и дочери богоизбранного народа, сошедшего с пути назначенной ему миссии дать спасение всему миру, не принявшего Христа и взявшего на себя ответственность за кровь его, внушающего мистический страх малокультурным людям от низменных, чудовищных мифов, эти праведники проявили редкую силу духа, презрев собственную гибель, вспомнили в смертный час завещанное на века указание Талмуда: спасающий одну жизнь — спасает целый мир, и, рискуя получить пулю в лицо, — сколько Аманов может иметь один народ! — потребовали от своих убийц: «Освободите эту женщину, она не еврейка».

И случилось чудо. Нелюди, для кого чужая жизнь всего ничего, капля в море слез, в решающий миг познали справедливость высшего принципа гуманности. Чья-то сильная рука вырвала ее из толпы и отшвырнула далеко в сторону. Теряя сознание от удара об землю, она

продолжала слышать плач и рыдания и автоматные очереди иродова дела. Потом стало тихо в лесу. До ее затуманенного рассудка доносился шум крови, этой души всякого тела, потоками вытекающей из расстрелянных в еще одной безымянной еврейской могиле.

От безумия ее спас доктор Козачук. В декабре его самого схватили и повесили как партизана и долго не разрешали вынуть из петли, в назидание и устрашение других.

Рассказывая, Гулико Манткава плачет, через полвека заново переживая убийство однополчан и мирных жителей, породненных общей бедой. Как мало героического в облике этой седой фронтовички. Само участие в войне противоречило ее женскому естеству, когда она в составе санитарной роты высадилась с десантной группой на Керченский полуостров, выжила в двух лагерях, вышла неопалимая из барakov, подожженных гитлеровцами вместе с холерным блоком. Партизанское соединение, куда она пробралась через линию фронта, скоро влилось в краснознаменную бронетанковую дивизию 3-го Белорусского фронта. И Гулико наградили орденом Боевого Красного Знамени, к которому сегодня мало почтения у тех, кто разъезжает в перегнанных из Германии заносчивых мерседесах, лакает баночное пиво, не зная вселенского ужаса, когда нацисты выбирали живой мишенью людей.

От горящих барakov проволока на бетонных столбах ограждения накалилась и легко отгибалась. Многие

пленные тогда бежали.

Места вокруг Ровно безлесные. Гулико пряталась в высоких небуранных хлебных полях, кормилась колосьями и травами. На десятый день услышала шорох раздвигаемой травы и окрик: «Руки вверх!» Перед ней стоял темноволосый мужчина с черным немецким автоматом на перевес. Он спросил на армянском языке, кто она, куда идет и как здесь оказалась, а у нее был один выход — смерть или уход в Украину. Незнакомец предложил обменяться адресами, записал ее — тбилисский. С наступлением темноты бывший военнопленный Гурген Галоян тайно провел ее на станцию и спрятал в товарном вагоне, в угольной куче, посигналил электрическим фонариком, что путь безопасен. В восьми километрах от станции она спрыгнула с поезда и ушла в лес.

Гурген Григорьевич слово сдержал. В начале семидесятых приехал с женой из Сумгаита, который строила вся страна, называла великой стройкой и городом интернациональной дружбы. Ничто тогда не предвещало погромы по пятому пункту — Содом и Гоморру перестройки, звериный оскал фашиствующих уголовников, методику хладнокровного убийства беззащитных стариков, женщин, детей.

22 августа тридцать девятого года, за неделю до вторжения в Польшу, на совещании лидеров фашистской военщины в Оберзальцберге Гитлер вещал: «Я приказал своим смертоносным отрядам безжалостно уничтожить детей, жен-

щин и мужчин польского племени и говорящих на этом языке. Только таким образом мы можем приобрести необходимое нам жизненное пространство. Кто сегодня помнит об уничтожении армян?»

Так цинично сановным палачом рейха утверждалась старая забытая разбойничья идея: нет народа — нет вопроса. История повторилась и, вопреки известной сентенции, дважды трагедией, одной из крупнейших катастроф века. Массовые убийства евреев варшавского и лодзинского гетто во многом развивались по сценарию кровопролитных драм в раскаленной месопотамской пустыне Дер-Зор, где даже солнце усердствовало в роли палача тысяч армян.

Развивая технику обезлюдения — Гитлер понимал его как устранение целых расовых единиц — фашизм сплел в Европе чудовищную паутину лагерей индустрии смерти.

В одном из самых злобещих — в Треблинке, маленькой захолустной станции в шестидесяти километрах от Варшавы, в начале сентября сорок четвертого побывал подполковник в изношенной армейской шинели. Для него это не рядовая поездка, за которую следует отписаться в газете. Военкор «Красной звезды» Василий Гроссман близорукими синими глазами за железной оправой очков увидел многое, что пытались спрятать с концами строители конвейерной плахи.

Он начинает рассказ негромким, ровным голосом много повидавшего на своем веку человека, но

спокойствие это только кажущееся. Скоро мы узнаем, что Треблинка состояла из двух лагерей. В первый — за незначительные проступки заключали поляков. Этот трудовой лагерь, уменьшенная копия Майда-нека, стоял в лужах крови, и могло показаться, что нет ничего страшнее в мире. Но его узники знали, добавляет писатель-фронтовик, что есть нечто ужаснее, во сто раз страшней, чем их лагерь. В трех километрах дымит еврейский комбинат плахи, выбрасывая облака огня и пепла.

Он говорит о бутафорской станции Обер-Майдан — с кассами, камерой хранения, стрелками мифических маршрутов, за чьей платформой растет желтая трава и обрываются рельсы надежды, видит вахманов в черных мундирах, эсэсовских унтер-офицеров на вокзальной площади, вытопанной миллионами пар ног. Их смешит, что крикливые мамыши отчитывали детей, отбежавших на несколько шагов, одергивали на них матросские курточки, мужчины вытирали лица носовыми платками и закуривали сигареты, заневестившиеся девушки оправляли растрепанные волосы, испуганно придерживали трепетные юбки от порывов нескромного ветра, уверенные в надежде, что их везут в нейтральную страну, где не стреляют.

Он вглядывается в прибывших обреченным эшелоном, в их прекрасные лица, и в логове волчьему открывается рафаэлевская истина о высоте и неистребимой силе человеческого в человеке. Он видит, как босоногая Сикстинская Мадонна

пошла в газовню, понесла на руках сына по колючему песку треблинской земли, содрогавшейся от скрежета огромных экскаваторов-могильщиков. Ему и страшно, и стыдно, и больно за эту ужасную жизнь, за упоенное властью самодовольное насилие, и он честно спрашивает: нет ли в этом и его вины и почему мы живы. Ужасный, тяжелый вопрос, признается себе писатель. Задать его живым вправде только мертвые, но они молчат.

Грозный судья, он берется за непосильную задачу — пройти путь этих живых мертвецов и вернуться, чтобы поведать правду потрясенному человечеству. Он пройдет с ними мимо высокой, в три человеческих роста, колючей проволоки, противотанкового рва, лагерных вышек с пристрелянными крупнокалиберными пулеметами — до самого порога красивого каменного здания, украшенного деревом. Снаружи оно напоминало античный храм — самолюбленный фашизм искал аналогии с блеском и роскошью древнего Рима. Но за широкой стальной дверью скрыто десять газовых камер. Усаженная елками и цветами, дорога без возвращения хранила на песке трудноразличимые следы босых ног: маленьких — женских, всем маленьких — детских, тяжелых старческих ступней. И память о высокой девушке. Прекрасная в гневе, как Немезида, она выхватила карабин из рук глазающего на их наготу садиста и вела короткий, неравный бой с десятками профессиональных убийц, пока не упала навзничь, как

подстреленная белая птица.

Гроссман шаг за шагом прошел по кругам треблинского ада, и безобидной, пустой игрой сатаны показался ему Дантов ад. Тут не отвернешься, не пройдешь мимо, не оскорбив память погибших. Он встречался со свидетелями — с крестьянами соседней деревни Вульке, с арестованными эсэсовцами из концлагеря. Увиденное и услышанное позволяет ему задать грозный вопрос: «Каин, где все те, кого ты привез сюда?»

Он собирает факты, письменные показания, сталкивает их и завершает расследование математически точно выверенной цифрой, от которой порядочного человека берет оторопь. Треблинка за десять месяцев убила три миллиона людей — больше, чем все моря и океаны за время существования рода человеческого.

Невозможно без сердечной боли читать о страшном конце смертников, когда за считанные секунды низвергались в пучину небытия большие сильные умы, честные души, славные детские глаза, милые старушечьи лица, гордые красотой девичьи головы, над созданием которых веками трудилась природа. От них остался черный пепел, вывозимый пудами на мобилизованных крестьянских подводах, лопатами разбрасываемый заключенными детьми на черной дороге меж двух лагерей. Напрягая зрение, можно увидеть в этой траурной ленте горящие медью волнистые густые женские волосы, втопанные в землю

тонкие, легкие девичьи локоны из невывезенного в Германию мешка — страшное сырье людоедки-войны.

Черный пепел стучал в сердце русского писателя Василия Гроссмана. Изданный отдельной брошюрой «Треблинский ад» лег на стол Нюрнбергского трибунала весомым обвинением Холокоста. В сентябре сорок четвертого он писал: «Сегодня мало говорить об ответственности Германии за то, что произошло, нужно говорить об ответственности всех народов и каждого гражданина мира за будущее, разобраться в природе расизма, в том, что нужно, чтобы нацизм, гитлеризм не воскрес никогда, во веки веков ни по эту, ни по ту сторону океана». Как актуальны эти слова писателя-гуманиста в наши дни, когда в киосках бывшей «Союзпечати», в стране, потерявшей на войне и без нее десятки миллионов человек, продается «Майн кампф», запрещенная в покающейся Германии безумная книжка. Как не прислушаться к завещанию-предостережению: мы должны помнить, что расизм, фашизм вынесет из этой войны не только горечь поражения, но и сладостные воспоминания о легкости массового убийства.

Треблинка была прологом к главной книге Гроссмана. Еще во фронтовом очерке он отмечает железную логику войны: офицер с зеленой ленточкой Сталинградской медали записывает показания лагерных палачей, победоносная сталинградская армия освободила многострадальную треблинскую землю. Роман-эпопею о Сталинграде он посвятил

матери — Екатерине Гроссман, старой учительнице, замученной в бердичевском гетто. «Когда я умру, ты будешь жить в книге... судьба которой схожа с твоей судьбой». Ей продолжал писать письма, прося совета у мертвой, до последних своих дней, так нещедро отпущенных ему судьбой. Гроссман приводит в романе скорбные строки последнего письма Екатерины Савельевны сыну, с удивительным рефреном материнской любви: «Живи, живи, живи вечно...» Давясь от слез, его перечитывает ученый физик Виктор Штрум.

Остается загадкой, как типичный русский интеллигент, читающий в подлиннике Мопассана и Доде, зная с десятков слов на идиш, с такой пронзительной силой написал о трагедии еврейского народа, и многие страницы его романа о Сталинграде — несмолкаемый рекем по шести миллионам замученных душ. Он опрокидывает все мыслимые представления о человеческих пределах творческого процесса, вводя действия романа в белые бетонные стены газовой камеры, куда вопреки физическому закону Авогадро, втиснуты немолодая доктор Софья Левинтон и ее непривычно молчаливые попутчики по арестантской теплушке, беспомощные, задыхающиеся, раздавленные ужасом. Близок конец... темнеет в глазах, гулко пустынно в сердце, скучно, слепо в мозгу... Слепнущая от удушья Софья Осиповна ощутила, как осело в ее руках невесомое тело бездомного мальчика Давида, которого она обнимала из последних сил, пытаясь

спасти и защитить в бетонной могиле. «Я стада матерью», подумала никогда не рожавшая женщина и умерла.

Война грохочет на Волге, ломая людские судьбы, пожирая новые жертвы. Жена Штрума — Людмила Шапошникова без вещей и продуктов ночью плывет пароходом в саратовский госпиталь, куда с тяжелыми ранами помещен сын, беззвучно шепча непослушными губами заклинание: «Пусть Толя останется жив». Больше мать ничего не просила у неба, но земной путь молодого лейтенанта-артиллериста оборвался. Свежий могильный холмик сохранил для нее на фанерной табличке имя и воинское звание сына. Она наконец нашла Толю на последнем страшном мальчишнике — однообразии и густота фанерок вокруг напомнили строй щедро взошедших на поле зерновых. Ночью она осталась одна на военном кладбище, как безумная говорила с сыном, прикрывала полую пальто босые толины ноги, сняла с головы пуховый платок и укрыла его плечи в легкой бязевой рубашке. Людмилу Николаевну поразила мысль о вечности ее горя: умрет муж, умрут внуки ее дочери, а она все будет горевать.

Вечные страницы в мировой литературе.

На форзаце одной из немногих книг о жизни и судьбе Гроссмана недавно обнаруживаю редкую фотографию. Гроссман похож на Михаила Ботвинника и на Исера Купермана. Задумчивый и грустноглазый, сидит на большом камне, про-

светленный, как Он в пустыне, прости, господи, на полотне Крамского в Третьяковской галерее. Классик, не удостоенный издания собрания сочинений. Черное демисезонное москвовшеевское пальто, теплое и надежное, как он сам, толстый шерстяной шарф, белая сорочка, крупный узел темного галстука. Устало опущены сильные плечи. За ним громоздится девятый вал каменного моря, кажется, сейчас накатит на этот естественный подиум. Что-то знакомое в рыжих скалах, аскетически строгих, без единого клочка травы, в развалинах языческого храма, которому две тысячи лет.

Гарни, древняя летняя резиденция армянских царей.

Среди старых бумаг нахожу свою фотографию, как две капли воды похожую. Та же каменная плита стилобат — основание ионической колонны. И снято, возможно, в один и тот же ноябрьский день. Сохранился и групповой снимок. На фотографии я дальше и выше других, сижу на краю пропасти с речкой-змеейкой Азат на далеком дне. Снова слышу слова нашего спутника, обладателя белой красавицы «Волги»: осторожно, не скатись вниз! — и с запоздалым благоразумием не спеша слежаю с предательски неустойчивой каменной глыбы.

Гроссман приехал в Армению, когда жить ему оставалось неполных три года. Эту малую толику времени он проживет несчастливо и с достоинством. Великан, опутанный лилипутами тысячами нитей. Арестована главная книга и судьба

рукописи долго будет волновать не покинувших его друзей. Лишенный обычного заработка писателя, он надевает хомут ремесла, соглашается на постылую поденщину, в Армении занимается авторизованным переводом военного романа Рачия Кочара, да так неистово, что к вечеру лицо и лоб покрываются фиолетовыми пятнами, и еще собирает материал для последней книги, условно названной «Путевые заметки пожилого человека». Она не избежала судьбы его книг-страдалиц.

Писатель, чей роман он переводил, пригласил его на свадьбу племянника. Гроссман едет в нищую деревню на южном склоне Арагаца, к выходцам из далекого Сасуна, с невероятным трудом вырубавшим хлеб из базальта, к землякам Давида Сасунского и генерала Андраника. Суровые груды голых камней, синее небо, сахарные головы Арарата, на который смотрели писавшие Библию люди, живо заряжают его писательское воображение. Он не просто гость, кого не замечают на улице ереванские коллеги, подверженные знакомой по Москве эпидемии неузнавания, когда в квартире сутками молчит телефон. Он участник народного веселья в сельском клубе, пьет с мужиками крепкую виноградную водку, заедает огненно-режущим зеленым помидором. Он работает — его пытливый взгляд замечает, как потрескивают тоненькие восковые свечи, кажется, это глаза людей светятся мягким огнем; и очень миловидная невеста, молоденькая продавщица из сельмага,

танцующая, боится, как бы расплавленный воск не попал на ее новое, светло-голубое пальто; у некоторых танцоров в руках блестят трофейные немецкие кортики и кинжалы с насаженными на острие яблоками.

В разгар веселья к нему обращается седой мужчина в застиранной добела солдатской гимнастерке. Колхозный плотник говорил о евреях. В немецком плену он видел, как жандармы вылавливали евреев-военнопленных — так были убиты его товарищи. Он говорил о своем сочувствии и любви к погибшим в газовнях Освенцима еврейским женщинам и детям, сказал, что читал военные статьи гостя, где он описывает армян, и подумал, что вот о нас написал человек, чей народ испытал много жестоких страданий, ему хотелось, чтобы о евреях написал сын многострадального армянского народа.

Я слышу этот удивительный тост старого колхозного плотника, с суровым каменным лицом; вижу Гроссмана, вытирающего платком не видящие от слез глаза. В книге об Армении он сказал о переполняющих его чувствах, низко кланялся армянским крестьянам, которые во время свадебного веселья всенародно заговорили о муках еврейского народа в период фашистского гитлеровского разгула, о нацистских лагерях смерти, низко кланялся всем, кто торжественно, печально, в молчании слушал эти речи, за горестное слово о погибших в глиняных рвах, газовнях и земляных ямах, за тех живых, в чьи глаза человеконена-

вистники бросали слова презрения и ненависти: «Жалко Гитлер всех вас не прикончил», давая клятву до конца жизни помнить услышанные в сельском клубе речи крестьян.

Это к нам, живущим, обратился он в повести «Добро вам!»

Добро вам, армяне и не армяне, люди планеты Земля!

Умирал Гроссман трудно. Лежал притихший, на узкой больничной койке, прислушиваясь к боли, ненасытным пламенем лизавшей внутренности, его окровавленные легкие. Мысленно он далеко, в городе Садко, который его не любил и нелюбовью своей навлек столько бед. Он снова вел бой за Сталинградский вокзал, где оставлен биться до последнего патрона батальон старшего лейтенанта Филяшкина, и, не дождавшись подкрепления, в кольце окружения погибал вместе с ним, теряя командира за командиром, бойца за бойцом, как терял свои арестованные книги, уже не надеясь подняться, как Виктор Некрасов, к знаменитым бакам на Мамаевом кургане, войти в стреляющие цеха Тракторного, встретить среди развалин фронтовых знакомых Новикова, Грекова, Березкина, Вавилова, Ершова...

В кровавом от рвущихся снарядов мареве дрожит странное видение — высокий мужчина в красном камзоле, в островерхой шляпе набекрень, в широченных штанах, в чулках, заправленных в башмаки с бантами, пучеглазый и больше ротый. Колдун из старого Гаммельна, спасший город от нашествия не-

сметных полчищ крыс.

Нет уже сил вспомнить, откуда этот навязчивый образ средневекового крысолова.

Играя на бронзовой флейте, незнакомец привычно шел к морю, вошел в воду. За ним, повинувшись диковинной колдовской мелодии, послушно следовали погромщики, насильники, убийцы всего живого на голубой планете, такой малой, беззащитной. Они шли, как сомнамбулы, не видя ничего вокруг, сваливая и топча друг друга, тяжелыми комьями падали с крутого берега.

Волны смывали горланящую пеструю ленту и не было ее конца.



МУЧЕНИК С ВОЗНЕСЕНСКОЙ УЛИЦЫ

Двухместный «Альбатрос», безнаказанный, уходил на запад, беспорядочный ружейный огонь с земли вреда ему нанести не мог, когда прямо по курсу выскочил наперерез быстроходный «Моран» и, используя преимущество в скорости, ударил мотором в альбатросову плоскость. Через мгновение оба летательных аппарата начали стремительно падать: тяжелый австриец и атаковавший его российский самолет. Наблюдавшие за драмой в воздухе, едва выйдя из шока, устремились к месту катастрофы; там, западнее Жолкева, в поле, среди обломков

самолета, лежал навзничь в траве штабс-капитан Петр Нестеров. Он первый увидел в зачистившем к ним разведчике реальность провала операции 3-й армии, гибели десятков тысяч солдат, и ценой собственной жизни прервал разведывательный полет австрийского лейтенанта барона Фридриха Розенталя, сына владельца местного имения.

Был полдень 26 августа 1914 года. Год и один день разделяли два события в жизни Петра Нестерова — день его триумфа и день героической гибели. Первая в мире «мертвая петля» и первый в мире воздушный таран. Два подвига на пределе сил и возможностей человека, взявшегося доказать, что в воздухе везде опора. Воздух предал его, бросил с размаха вниз, с перебитым позвоночником, бездыханного.

Оглушенные горем, обнажив головы, стояли над мертвым командиром офицеры и младшие чины. Сжал в руках кожаную авиаторскую каску подпоручик князь Абашидзе. О чем думал он, стоя на солнечной лужайке? Может, о бренности жизни горстки этих смельчаков, бросивших вызов небу. Сейчас оно безучастно смотрело на небывалое скопление людей. Свидетель бесчисленных смертей на бессмысленной кровавой бойне, так и не привыкнув к потерям, Абашидзе вспомнил Сырецкий военный аэродром близ Киева, откуда в редакцию петербургской газеты «Вечернее Время» была отбита телеграмма сенсационного содержания: «Киев, 27 августа 1913 г. Сегодня в шесть часов вечера воен-

ный летчик 3-й авиационной роты поручик Нестеров, в присутствии офицеров-летчиков, врача и посторонней публики, сделал на Ньюпоре на высоте 600 метров мертвую петлю, т. е. описал полный круг в вертикальной плоскости, после чего спланировал к ангарам. Военные летчики: Есипов, Абашидзе, Макаров, Орлов, Яблонский, Какаев, Мальчевский, врач Морозов, офицеры: Родин и Радкевич».

Заочное соперничество с французским асом Адольфом Пегу за лавры первого исполнителя «мертвой петли» завершилось триумфом лучшего авиатора России. Его обеспечили нестеровское летное умение, точный математический расчет, безудержная отвага победителя воздушной гонки наперегонки со смертью. Поистине смертью смерть поправ. Петля показала авиаторам выход из тупика катастроф, уносивших человеческие жизни.

Среди подписавших киевскую телеграмму обнаруживаю начальника 12-го корпусного авиаотряда штабс-капитана Макарова, спортивного комиссара при Киевском обществе воздухоплавания военного летчика штабс-капитана Орлова, спортивного комиссара Императорского Всероссийского аэроклуба поручика Есипова и поручика Мальчевского из 9-го корпусного авиаотряда.

В этом списке меня особенно заинтересовала фамилия Абашидзе. Кто вы, наш земляк, военный летчик из далекого прошлого, именуемого героическим периодом авиации? Вспоминаю с признательностью по-

могавших мне советами и просто человеческим сопереживанием одного из старейших российских летчиков обаятельного Михаила Сергеевича Мачавариани (мне бесконечно дорога его книга воспоминаний «Глаза на юг» с теплой дарственной надписью), двух сестер, настоящих аристократок, из старинного особняка выше Кировной улицы (ныне ул. Марджанишвили), под самой горкой, за которой громыхла железная дорога. Их брат летчик погиб незадолго до начала Первой мировой войны — не смог вывести из штормов опрокинутый ветром аэроплан, «мертвая петля» тогда была неизвестна.

Поиск осложнялся тем, что были неизвестны инициалы первого военного грузинского летчика. Как мало я знал, пускаясь без нити Ариадны в каменные лабиринты миллионного города. Впрочем, миллионным он стал позже, десять лет спустя, а тогда я знал одно: у летчика Абашидзе была жена красавица. С этим зыбким ориентиром — сколько красивых женщин в Тбилиси! — включаюсь в поиск. Постепенно круг сужался, захожу как-то в очередной двор, расспрашиваю жильцов, не очень надеясь на удачу, и о чудо! Случайно вышедшая в то время на балкон женщина мне говорит: «Я знаю ту, кого вы ищете» и называет адрес!

Иду по адресу. На звонок дверь открывает Екатерина Николаевна, усаживает меня за стол под уютным большим абажуром и, выслушав, говорит: «Да, это мой муж. Он окончил Севастопольскую авиационную

школу в один год с Петром Николаевичем Нестеровым». Хозяйка уходит в соседнюю комнату и возвращается с коробкой, достает из нее фотографии разыскиваемого мною военного летчика. Еще на одной — сама Екатерина Николаевна в молодости — истинная петербурженка, с толстой косой на высокой груди; даже на фотографии видно, какая она тяжелая и золотая. «А это сестра Михаила Дмитриевича», — говорит хозяйка, протягивая мне портрет молодой девушки.

В тот вечер, перебирая редкие семейные фотографии, я узнал от Екатерины Николаевны подробности, которые тщетно искал в архивах.

Михаил Дмитриевич Абашидзе родился в 1889 году в семье командира Северского драгунского полка. Окончил кадетский корпус в Тифлисе и Николаевское кавалерийское училище — в те годы звание военного летчика могли получить только лица с высшим военным образованием. Осенью 1912 года Абашидзе окончил курс Севастопольской авиашколы. Одновременно с ним на севере, в Гатчине, окончил Петербургскую офицерскую воздухоплавательную школу Петр Нестеров, выпускник Нижегородского кадетского корпуса и Михайловского артиллерийского училища. Случайно ли это совпадение? Думаю, нет. Оба принадлежали к числу прогрессивно мыслящих людей своего времени, горячо любили авиацию, стремились приблизить ее к насущным делам. Очень скоро их дороги сошлись.

Весной 1913 года обоих зачислили в 3-ю авиароту, расквартированную под Киевом, неподалеку от полостанка Святошино, где размещался основной аэродром авиаотрядов; оба принимали участие в занятиях на Дарницком артиллерийском полигоне, к которым впервые привлекались авиаторы для корректировки огня.

И еще факт, подтверждающий дружбу двух летчиков, общность их интересов. О дальних перелетах Петра Нестерова Киев — Одесса — Севастополь и Киев — Гатчина в марте и мае 1914 года написано немало. Его глубокие теоретические расчеты, знание материальной части самолета позволили установить новые всероссийские рекорды скорости и дальности. Но долго оставалась неизвестной мечта Абашидзе о фантастическом перелете, на который в те годы мог решиться только авиатор богатырского размаха. Как рассказал мне Михаил Мачавариани, Абашидзе в конце 1913 года задумал перелететь через Главный Кавказский хребет. Он перегнал самолет из Киева во Владикавказ, отсюда собирался совершить воздушный прыжок в Тифлис, но состояние мотора вынудило его прервать полет. Начавшиеся войсковые маневры заставили его покинуть Владикавказ, для мирных перелетов времени не оставалось. Любопытно, что его идея транскавказского перелета была реализована только 2 октября 1917 года выпускником Кавказской авиашколы военным летчиком Е. Виташевским и в 1918 году летчи-

ком А. Русановым и наблюдателем Н. Просвириным.

С объявлением всеобщей мобилизации 31 июля 3-я авиарота в составе третьей армии юго-западного фронта выступила на театр военных действий в Галиции. В роте четыре авиаотряда, в их числе 11-й корпусный, где командиром Нестеров, и 12-й корпусный, где служил Абашидзе. 1 августа, в день объявления Германией войны России, он только возвратился из Сумского уезда Харьковской губернии, куда был командирован вместе с военным летчиком поручиком Соколовым для закупки на конном заводе двухсот лошадей, используемых в качестве гужевого транспорта при отправке имущества авиаотрядов на фронт. Факт достаточно красноречивый, подтверждающий, что в период мобилизации и с началом боевых действий летчиков нередко загружали поручениями, не имеющих никакого отношения к их редкой профессии.

Моя первая статья об Абашидзе в городской вечерней газете попала на глаза дочери авиатора Нестерова Маргарите Петровне, меццо-сопрано оперного театра в Нижнем Новгороде. Она просила сообщить ей неизвестные подробности об отце, возможно, имеющиеся в архиве его боевого друга. К сожалению, о последнем периоде жизни Михаила Абашидзе мне было неизвестно. Вдова о нем не распространялась, и я не расспрашивал, хотя и догадывался; время было такое — хрущевская эйфория по разоблачению преступлений сталинщины по-

шла на убыль, о трагедиях в семьях все еще предпочитали молчать. Тогда же я отписал в Нижний Новгород, что архив летчика Абашидзе не сохранился. Но чувство неудовлетворенности и вины осталось. Оно заставило меня отказаться от публикации в журнале «Огонек», о чем просила при каждой встрече его собственный корреспондент по Закавказью Ия Семеновна Месхи.

Шли годы, другие события отодвинули образ летчика божьей милостью, как называли в империалистическую войну крылатых сынов человеческих, воевавших с одним маузером на борту хрупких аэропланов, но фотографии сохранились, и тема будоражила сознание.

«Отречемся от старого мира...» — пели безбожники на страшном шабаше окаянных дней, унесших светлые души тех, кто был солью земли. Как цветы запоздалые, приходят к нам память, покаяние, слезы, и, увы, слишком поздно. Уже осудили кровавые репрессии, вернули доброе имя тысячам невинно загубленных, другие люди брались за дело, чтобы насилие и произвол никогда не подняли голову.

Я позвонил по правительственному телефону генералу КГБ. Он внимательно выслушал и отреагировал как следовало: «Да, конечно. Передайте о моем согласии». Через считанные минуты я оказался у цели, к которой шел долгие годы. У подъезда ведомства меня дожидался офицер, молча провел длинными коридорами в небольшой читальный зал. «Сколько вам нужно времени для

ознакомления с делом?» — «Один час». И вот, наконец, на столике передо мной тонкая папка из следственного фонда Государственного политического управления Закавказья по борьбе с контрреволюцией, шпионажем, бандитизмом, спекуляцией и преступлениям по должности. Горькая правда о последнем пути подследственного. Торопливо читаю дело, стараясь не думать о происхождении бурных пятен на страницах.

Абашидзе Михаил Дмитриевич, 39 лет, имеретин, уроженец Кутаисской губернии, беспартийный, бывший князь, бывший дворянин, бывший офицер царской и белой армии. Последний чин — полковник. Служил до октября 1915 года в авиационных и автомобильных частях, с 1915 года до марта 1917 года в штабе 5-й армии адъютант начальника, профессия в авиации — летчик, в автороте — командир взвода, позже — старший офицер. До февраля 1918 года в 5-й армии редактор газеты, позже — командир автороты. В феврале попал в плен. С апреля по декабрь содержал ресторан «Прага» в Киеве. С апреля 1919 по 1920 год — в Одессе, в Добровольческой армии офицер-порученец при главном начальнике военных сообщений вооруженных сил юга России. С ноября того же года по 1927 год заведовал беженским отделом персидского генерального консульства в Тифлисе. С 1927 года в комитете восстановления в Ленинкане, с декабря того же года — техник при управлении эксплуатации ЗАГЭСа.

Арестовали Михаила Абашидзе

14 апреля 1928 года в 10 часов вечера возле его дома на Вознесенской улице (ныне ул. Давиташвили). В квартиру, где его ждали мать Вера 62 лет и жена Китти, он не вернулся. Постановлением органов 8 мая Абашидзе привлекли к следствию в качестве обвиняемого. Тогда же с трехнедельным опозданием было выписано постановление на его арест. При обыске в доме обнаружены и приобщены к делу золотые часы и серебряное кольцо с простым камнем. И еще запомнилось: вещественных доказательств по делу не имелось и обвиняемый с июля находился в центральной больнице исправдома. Оба обстоятельства, похоже, не смущали творивших суд скорый и неправый. Абашидзе обвинили в связи в 1922 году с «военным центром» при паритетном комитете антисоветской партии Грузии в лице бывшего полковника, расстрелянного в 1923 году, а также в военном шпионаже в пользу Персии, сборе военных сведений о Красной Армии, использовании служебного положения во вред советской республике и отправке диппочтой за границу контрреволюционных данных, и под видом персидских эмигрантов заведомых шпионов. Сам он, тревожась за судьбу оставшихся дома, истязаемый пытками, не пытался опровергнуть эти чудовищные обвинения, да и факт пребывания в тюремной больнице достаточно красноречив, вряд ли причиной послужили записанные в деле кишечные заболевания.

Александр Исаевич Солжени-

цын, говоря в «Архипелаге ГУЛАГ» о карающей тяжелой длани 58 статьи, писал, что шестой пункт — шпионаж «прочтен настолько широко, что если бы подсчитать всех осужденных по нему, то можно было заключить, что ни земледелием, ни промышленностью, ни чем-либо другим не поддерживал жизнь наш народ в сталинское время, а только иностранным шпионажем и жил на деньги разведок».

Как жил на широкую ногу, на деньги разведок скромный техник ЗАГЭСа Абашидзе свидетельствует реквизированное у него при обыске серебряное кольцо с простым камнем, но ненасытные жернова ГПУ уже готовились смолоть очередную жертву...

Протокол судебного заседания коллегии ЗакГПУ 22 октября 1928 года по обвинению Абашидзе Михаила Дмитриевича завершался коротким, как выстрел, словом «расстрелять». В левом верхнем углу обвинительного заключения злобная подпись председателя Груз ГПУ Берия — «утверждаю».

Я закрыл тонкую папку, потрясенный обыденной простотой этого страшного конца.

Несколько дней спустя, неожиданно для себя, оказался у знакомого дома. Хлопнула парадная дверь. «Вам кого нужно?» Смотрю на спрашивающую. Хорошее лицо, участливые глаза, помнит ли она... Оказалось, помнит. «Ту статью написали вы?» И женщина тут же, на улице, рассказала, что Екатерины Николаевны два года как нет в жи-

вых, после нее никого не осталось, где-то в Москве живет племянница Михаила Дмитриевича, приезжала на похороны...

На этом закончилась история семьи Абашидзе. Так считал я, но ошибся. Эта история была написана, когда, беседуя с соседкой, я назвал фамилию Абашидзе, и Анна Сергеевна вспомнила, как летом 1927 года отец пригласил отобедать у них дома, кого вы думаете? Абашидзе! Оба работали на строительстве по ликвидации последствий землетрясения в Ленинкане. Самое удивительное: Анна Сергеевна помнила, что Абашидзе, бывший князь и летчик, жил на Вознесенской улице!

Знакомый прокурор, с кем недавно я поделился этой историей, сказал: «А почему не допускаете, что причиной гибели Абашидзе была его красавица жена?»

Вспомнились шокирующие кинокадры аксеновской «Московской саги»: черный автомобиль со сластолюбивым главным чекистом страны в темном салоне. Камера панорамирует по Головинскому проспекту в Тифлисе, выхватывая в толпе лица и ноги красивых женщин. Пуркуа-па? (почему бы и нет?), как говорят французы. И если прав был поэт, сказав, что «свет погасшей звезды еще тысячу лет к нам доходит», то, наверное, рано ставить точку в этой удивительной и трагической истории.



БРИЛЛИАНТЫ ВСЕГДА В ЦЕНЕ

Весной мы всем классом дружно заболели. Благоволившая к нашему физруку рыженькая доктор — ее спелые округлости лезли из пенно-белого халатика, как опара из квашни, — поставила диагноз: баскетбол. Всей ватагой мы отправлялись на Мтацминду, неся по очереди многострадальный мяч, не зная одышки, вбегали на верхнее плато, где среди скрипа поджаренных на солнце планирующих кузнечиков ждала нас желанная награда — открытая школьным «колумбом» баскетбольная площадка.

Наша сорок третья школа преуспела в этой игре, придуманной Джеймсом Нейсмитом, преподавателем Спрингфилдского колледжа из штата Массачусетс, став первой в городе. Марку надо было держать. Класс наш — чемпион школы — твердо помнил: не боги горшки обжигают. Воспитанники сорок третьей Леван Инцкирвели и Тенгиз Медзмаришвили, будучи не намного старше нас, играли в тбилисском «Динамо» — одном из ведущих европейских клубов.

А пока, кроме верхнего плато фуникулера, мы облюбовали спортивную площадку в Александровском саду, где обычно решалась судьба городского первенства. Как-то в фи-

нале против нашей стартовой пятёрки вышли пять баскетболистов сорок четвертой школы, наши недавние ученики. Не поладив с директором, они вынуждены были уйти. Мы приветствовали их перед игрой как наш филиал, и за свою вольность чуть не поплатились дисквалификацией.

Я запомнил этот эпизод, потому что в перерыве сам отличился: со второго ряда трибуны, забросил в корзину отскочивший мяч — с угла площадки, любимой точки московского армейца Сергея Белова, откуда он забил «золотой» мяч ленинградскому «Спартаку» в решающем матче суперсерии. Только бросок мой был дальше. Мяч по высокой дуге опустился в сетку под одобрителный гул трибуны и реплику капитана школьной команды Джамбула: «Это наш золотой запас».

Через много лет узнаю из газет, что за один сверхдальний бросок одному американскому любителю удалось выиграть миллион долларов, который ему почему-то не платили. Так что по части материального поощрения у нас с ним полное равенство, но всякий раз чувствую себя счастливым, вспоминая ту удачу.

Как молоды мы были, целыми днями пропадая в Кировском парке на играх тбилисского тура первенства страны, где блистал О́тар Коркия, великий спортсмен с высоким лбом мыслителя, наделенный редкой для баскетболиста силой, как негодовали, когда ему шикали с трибун, мешая пробить штрафные. Но Коркия раз за разом посылал мяч

точно в цель. Так же мужественно сражался на хельсинкском стадионе с американцами, которые были сильнее. Коркия играл с вывихнутым большим пальцем правой руки, но именно его, а не американца Клайда Ловелетта, признали лучшим центровым олимпийского турнира.

В Тбилиси съехались гранды европейского баскетбола — москвичи, каунасцы, тартусцы, рижане, но наши сердца безраздельно отданы бедняку — ереванскому СКИФу, команде-загадке, чей стартовый — он же основной — состав представлен армянами-репатриантами. Американец Том Мурадян, француз Жан Маркарян, египтяне Абрам Амамджян, Жирайр Минасян и Арменак Алачачян, как мотоциклы «Харлей Дэвидсон», носились по площадке, готовые бросить и попасть в корзину из немыслимого положения, дать скрытый пас — откровение для соперника и нередко для партнера. Они могли бы получить первый приз за красоту игры, если бы, конечно, он разыгрывался. Это мнение Ивана Лысова, капитана знаменитой тартуской команды УСК (университетского спортклуба), одного из самых ярких виртуозов советского баскетбола. Впятером они могли обыграть любую команду и проиграть могли любой. Их сил хватало на один тайм, не больше.

Слишком коротка скифовская скамейка запасных игроков. Не оказалось больше баскетболистов на борту теплохода «Победа», доставившего в Батуми первую волну репатриантов — тысячи горемык из

числа рассеянных по свету. Потом все набились в поезд-тихоход; была не предусмотренная расписанием остановка в малопримечательной местности, но пассажиры высыпали из вагонов. Потомки прирожденных пахарей и скотоводов, воинов и поэтов, познав горечь эмигрантского хлеба, целовали бедную, каменистую свою землю, плача от радости, что увидят наяву не запятнанную в тысячелетиях белизну Арарата, истекающий голубой кровью жертвенный Севан, неистощимый, как армянское горе — безбрежное море; обласкают взглядом спасенные от меча и огня духовные ценности Матенадарана; подобно искателям жемчуга опустятся в каменные волны Гегарда, где глубоко в горах откроется им скрытая жемчужина средневековой архитектуры — творение гения Галдзага.

В начале шестидесятых наша редакция городской газеты получила из Агентства печати Новости очерк «Счастливчик» Анатолия Пинчука. Спортивный журналист утверждал: в баскетболе Арменак Алачачян — явление, равнозначное по масштабу Валерию Брумелю, Владимиру Куцу, Петру Болотникову в легкой атлетике, штангисту Юрию Власову. Их имена тогда были у всех на слуху, и автор очерка, кого кое-кто из коллег упрекал в непомерном захваливании Алачачяна, впервые попытался проследить, как начинался этот спортсмен, который беспощадным режимом сам сделал себя звездой. Свой анализ он продолжил в их совместной книге «Не только о

баскетболе», собравшей под одной обложкой радости и горести большой спортивной жизни.

По удивительной случайности нет в ней рассказа о встрече, за которой я наблюдал с крыши грузинского альпклуба, когда уютный баскетбольный стадион Кировского парка не мог вместить всех желающих. Ереванцам в тот вечер противостояла алма-атинская команда, за которую играл самый высокий человек в нашем баскетболе Увайс Ахтаев, чаще его называли русским именем Вася. Как чеченец Ахтаев оказался в Казахстане — история отдельная, и это не воля судьбы, какое-то положение звезд и планет, а злодейская сталинская акция насильственного переселения народов, наиболее ревностные исполнители ее получили орден Ленина. Помню, как на железнодорожном вокзале в Кустанае меня, тбилисского студента, остановили ссыльные ингуши: «Земляк, возьми для нас билеты в кассе. Нам их не продают».

За Ахтаевым ходили гурьбой. Тбилисцы всегда обожали тамашу — забаву, развлечение, а тут к нам пожаловал настоящий «гулливер» ростом за 230 сантиметров. «Гулливер» был достаточно приветлив и покладист, охотно давал автографы, расписываясь авторучкой величиной с велосипедный насос, и вмещала она не меньше пол-литра чернил.

Вечером я увидел, какой Ахтаев большой спортсмен — в прямом и переносном смысле. Опекал технического гиганта поручили малышу Алачабяну, держать по возмож-

ности плотно, не позволяя беспрепятственно принимать мяч. Вроде ничего мудреного, но как трудно играть! Господствуя на «втором этаже», Ахтаев полностью хозяйничал и на своем щите, как заправский вратарь, забирая в длинные, загребущие ручища летящие в корзину мячи. Стиснув зубы и не впадая в отчаяние, южане использовали медлительность Ахтаева, который не спеша возвращался на свою половину площадки.

В перерыве меня окликнул мой племянник Вилик. Как все мы, он подвигался по узорам декоративной деревянной решетки альпклуба. От карниза крыши его отделял один шаг, не самый трудный, на который он не решался, уверяя, что ему и снизу хорошо видно. Я до сих пор гадаю: видел — не видел, и как он мог отказаться от такого зрелища, а потом переехать в Ереван, в губительные для его большого сердца условия высокогорья и неустroенного быта? В душный летний день он сопровождал Давида Ланга в поездке к памятникам Аштарака, на берегу Касаха остался ждать английского профессора в машине, где его увидели деревенские дети. Когда прибежали взрослые, было слишком поздно...

Как мне недостает его, — и с каждым годом все больнее — так много обещавшего, не обласканного судьбой. Осталась записка, отстуканная им на пишмашинке, с удивительной лексикой молодого дипломата: «Хочу воспользоваться случаем сообщить, что по сей день

решить твой вопрос мне не удастся, но те и другие каналы, по которым я действую, крайне надежные. Твой переезд в Ереван практически возможен, но при условии обеспечения квартирой. Упомянутое условие требует, по словам Н., определенного момента, который позволит сделать тебе вызов. Я в свою очередь просто не решаюсь ставить сроки относительно этого момента, но буду рад оповестить тебя в свете малейшего намека на него».

Потом другое ведомство предоставляло мне интересную работу и квартиру в этом южном городе, но как им объяснять, что без Вилика все потеряло для меня свою притягательность: ходить по улицам, посещать учреждения, где его знали, читать стихи его друга Паруйра Севака, вздрагивать при виде молодых людей, так похожих на него — все это было за пределами моих сил.

Между тем события на спортивной арене шли к развязке. За десять секунд до конца встречи алмаатинцы вели в счете с разницей в одно очко, владели мячом, но случилось невероятное — грубо ошиблись в приеме мяча. Скифовцы мгновенно ввели мяч в игру из-за боковой линии и успели бросить по кольцу. Давид победил Голиафа. Что творилось на трибунах! Буквально скатываюсь с крыши, чуть не повредив себе глаз о невидимую в темноте проволоку.

Трудно поверить, но баскетбол мог потерять Алачабяна. После травмы его отчислили из команды, и, возмнив себя халифом, чиновник от спорта распорядился не опла-

чивать больничный лист тому, чей пример мог привлечь к занятиям баскетболом сотни юношей и девушек этой небаскетбольной республики.

Арменак обиду не простил, с женой-баскетболисткой Розой Вартанян уехал из Армении, по которой тосковал под чужим небом Александрии, уехал налегке, без денег и какой-либо перспективы в Москву, в тридцатиградусный мороз, как это сделал до него в послевоенные сороковые и уже непороховые молодой чемпион Армении по шахматам Тигран Петросян — в демисезонном пальто и парусиновых туфлях.

Алачабяна взяли в московское «Динамо», а он, продюгший до мозга костей, уехал в благодатную теплынь Алма-Аты, куда звал его Ахтаев, и вскоре уже играл за алмаатинский «Буревестник» и за сборную Казахстана, став соавтором уникального баскетбольного дуэта «Пата» и «Паташона», а потом девять лет защищал цвета ЦСКА — чемпионского клуба, и там не потерялся со своими 174 сантиметрами, оставаясь на первых ролях, не зная себе равных в искусстве подстраховки, в умении дать пас, фантастической выносливости, живя в баскетболе и для него.

По окончании сезона его пригласили в сборную СССР. (Первый свой матч в составе сборной Алачабяна сыграл, когда ему не было 23, последний — в 35.) Как он пришелся ко двору самых избранных — история особая. Это только в песне поется, как парня встретила славная семья, всюду были товарищи, всюду были

друзья. Огромная страна СССР, а мест в «основе» сборной всего 12. Претендентов 25, на тренеров давит гипноз старожилов команды — чемпионов Европы. Отношение к дебютанту в условиях ожесточенной конкуренции прохладное. На счастье, в сборной-53 нашлись два игрока, которые, опекая его порой даже сверх меры, помогли стать на ноги.

Двумя добрыми ангелами-хранителями Арменака были Отар Коркия и Иван Лысов. Коркия себя в игре не щадил, рядом с ним стыдно было играть вполсилы, праздновать труса. Не было в нашем баскетболе игрока, который пользовался таким авторитетом, как этот сероглазый гигант из Грузии, вспоминал Алачалян. Не знает, чем он приглянулся Отару Коркия, но относился он к нему — лучше не пожелаешь.

Коркия был покровителем, Лысов — учителем. Лысов и Алачалян — оба разыгрывающие. У старшего за плечами два чемпионата Европы и Олимпиада. С необыкновенным тактом и доброжелательностью Иван Федорович наставлял молодого: делай как я, делай лучше меня. Хотя знал, преимущество на стороне молодости. Так оно и вышло. Алачалян оставили в команде, его учителя — нет.

В том году Алачалян выиграл золотую медаль чемпиона Европы, первую из своих четырех, и на всю жизнь сохранил величайшую благодарность двум лидерам команды — великим баскетболистам и великим личностям.

В апреле 1964 года после встре-

чи сборных СССР и США, которую он отыграл с травмой, тренер американцев Джон Маклендон назвал его лучшим на площадке среди хозяев. По просьбе корреспондента «Советского спорта» Маклендон сравнил понравившегося ему советского защитника с легендарным Бобом Коуси из «Бостон Селтикс», который одиннадцать лет входил в символическую пятерку НБА.

После долгой паузы Маклендон сказал: «В нападении, конечно, сильнее Коуси... В защите, пожалуй, Алачалян... Алачалян побыстрее... У Коуси лучше дриблинг... Пас хорош у обоих...» И подводя итог, заметил: «Все-таки Коуси посильнее...»

После Олимпиады в Мехико Анатолий Пинчук как-то разговорился с Александром Гомельским, тренером сборной СССР. Говорили они о поражении команды в полуфинале от югославов, что назвали самой крупной сенсацией Игр. И вдруг, скорее себе, чем журналисту, Гомельский сказал с досадой: «Чего простить себе не могу, так это того, что не взял в Мехико Алачаляна!» Журналист делает два маленьких комментария. Алачалян перестал играть за год до Олимпиады. В ту пору, когда состоялся этот разговор, Гомельский в силу ряда причин относился к Алачалянну довольно сдержанно.

В семидесятых годах потерялись следы Алачаляна — был человек и нет его. Ходили слухи, что он переехал в Канаду к сестре, тренирует национальную сборную, кто-то видел его в Панаме, работающим на

бензозаправке, и даже умер от инфаркта.

И не узнали бы правду никогда, после двадцати лет полного замалчивания имени легендарного защитника, игрока сборной СССР и ЦСКА 50-60-х годов, если бы не случай.

На чемпионате мира 1994 года в Торонто второй тренер российской сборной Алжан Жармухамедов, возвращаясь с тренировки, проговорился в автобусе московскому журналисту Владимиру Титоренко: вот где-то здесь, в деловом центре, находится офис Алачаляна, его фирмы по покупке и продаже драгоценностей.

Тогда стали известны подробности исхода знаменитого шестого номера советской сборной и тренера ЦСКА. И как жаль, что о нем не знали Сильва Капутикян и Зорий Балаян, написавшие две книги об армянских диаспорах США и Канады.

Причина отъезда Арменака прозаическая — многолетний изнурительный пресс КГБ за отказ работать на них. Для гэбистов Алачалян — спортсмен экстра-класса, имеющий много друзей во всем мире и знающий пять языков: английский, французский, русский, армянский и арабский, представлялся уникальным агентом, но он стукачом быть отказался; став невыездным, на долгие годы отлучался от сборной СССР и официальных международных матчей ЦСКА. Помогло заступничество болельщика за баскетбол министра обороны Андрея Гречко, да и то не надолго.

Ржа железо ест, и Алачалян пси-

хологически сломался, оставил работу в престижном клубе, три года тренировал в детской спортшколе, начал готовиться к отъезду. Брежнев бумаги подписал, не препятствуя воссоединению семьи.

За океаном Алачалян отказался от выгодного предложения работать тренером в США, где его помнили и знали ему цену, но это означало бы новую разлуку с семьей. Он предпочел паркинг, обслуживание автомобилистов, повторяя судьбу многих состоявшихся миллионеров, четыре года работал, зарабатывал неплохо, хотя неудовлетворенность осталась.

Ему всегда везло на добрых людей.

Алачалян вспоминал, как однажды встретил друга из Грузии, который имеет в Канаде бизнес на золотых украшениях и взялся научить своему делу бывшего баскетболиста; как он пошел на выучку. Получал всего 400 долларов в месяц, но друг говорил: терпи, все окупится во сто крат.

И снова ему крупно повезло. Жил в Монреале его знакомый еще с египетских времен. И этот знакомый свел его с миллионером из Лос-Анджелеса, который видел по телевизору игру армейца на Кубке чемпионов в Милане и запомнил его, предоставил кредит — золотых украшений на 50 тысяч долларов. Алачалян вернулся домой в Торонто, сложил золото в чемодан и отправился по магазинам, предлагая товар и называя свою цену. Через два дня он все продал, а когда подсчитал выручку, узнал, что зарабо-

тал 5 тысяч долларов.

Так начался его золотой бизнес. Бриллианты ведь вечны, и занимается ими лично хозяин ювелирной фирмы, одной из самых процветающих в Канаде.

Леонид Брежнев, как все Ильичи, оказался не таким добрым дедушкой, каким рисовался. Система не простила Алачабяну отступничество и добровольную сдачу партийного билета. В семьдесят пятом, через год после его отъезда, в московском издательстве «Физкультура и спорт» вышел энциклопедический справочник «Звезды спорта» — судя по аннотации, о лучших спортсменах Советского Союза и выдающихся зарубежных. Справочник содержал около двух тысяч биографических справок, но в нем не нашлось места для Арменака Алачабяна, заслуженного мастера спорта, обладателя серебряной медали Токийской олимпиады и медали «За выдающиеся спортивные достижения», восьмикратного чемпиона СССР, четырехкратного чемпиона Европы.

Так Система сама себя высекла. Бриллианты действительно всегда в цене, и, как утверждает пословица, цену золота знает золотых дел мастер.



СОЛЬВЕЙГ НЕ ПРИБЕЖАЛА НА ЛЫЖАХ

«Не плачь! — сказал он огорченной жене, присев, по обычаю, перед дальней дорогой, которая для него неожиданно пролегла через пол-Европы. — Меня не убьют: я домой копейку не принес, заработанную нечестным путем». И хотя этот факт никак не способствовал пополнению семейного бюджета, сказано было не ради красного словца, но предельно искренно перед смертельной опасностью, которая отныне угрожала миллионам его сограждан, братьям и сестрам, как к ним обратился вождь, преодолев недельное потрясение.

Маленький винтик в разладившейся гигантской машине, он видел, как рушится то, что создавалось с превеликим трудом; для понимания этого ему хватало собственного опыта, которым он, не окончив Промакадемии и Института красной профессуры, обходился вполне. Рано повзрослевший сирота при живом отце-старике, знавшем иные времена, когда господин Арутюн, поэт и городской голова в вилайете соседней страны, внушал уважение и трепет отпетым головорезам, которые, похитив по незнанию его красавицу дочь, тотчас вернули домой с извинениями и богатыми по-

дарками. Но все это в прошлом, теперь он, младший в семье, привык полагаться только на свои умелые в обращении с металлом руки, что давало ему преимущество перед другими, желанную многими броню, за которую он не стал держаться, как за женину юбку. Он просто представить себя не мог на улицах города, который с каждым днем обрастал приметам далекой пока войны. Знакомые его, те, что правдами и неправдами остались дома, неслыханно разбогатели, нажились на людском горе, кутали в шубы своих жен, втискивали слоновьи ноги в модельные лодочки, на улицах, как застоявшиеся жеребцы, прохода не давали женам фронтовиков, завели в домах зоопарк чернобурок, рыбок в бассейнах, а позже, так и не поняв пороха, разжились льготными книжками участников войны, но об этом он узнал, лишь вернувшись домой с негибнущей кистью руки, а пока, непривычно растерянный и опустошенный, смотрел на плачущую жену, прижимавшую к груди дочку, которая вся горела то ли от неведомой болезни, то ли из-за реакции на отъезд отца; на ясноглазого, вихрастого мальчугана, который оставался за мужчину в доме и в двенадцать лет пошел работать в сельскую кузницу.

Это ощущение рушившегося очага, скромного домика на краю оврага Кибальчица, откуда видны Сирачхана и Чугурет, Авлабар и Сеидабад, которые все видели и знали, даже то, что было неведомо пытавшим их особистам, что всовывали

головы своих жертв в печку и стреляли у них под ухом, вырывая признание того, чего не было и быть не могло, он пронес через Ленинанкан, район формирования их войсковой части, пока, минув Туапсе, вместе со своими пушкарями не оказался весной сорок второго на огромном, раскисшем от дождей поле, вобравшем в себя небывалое скопление плохо вооруженных людей, которые, видя свою гибель, шли вперед, подгоняемые жестоким и бессмысленным приказом, туда, где угадывались белесые лиманы Азовского моря. Он потом многократно возвращался воспаленной памятью к тому страшному полю, каждый раз умирая под косым металлическим дождем артобстрелов, от снарядов то ли своих, то ли немцев. Пронзенный, как болью, физическим предчувствием большой беды, он снова видел себя среди безусых мальчиков, которые, обезумев от страха и неизвестно откуда жалящих осколков и пуль, поднимались в полный рост, готовые бежать куда глаза глядят. И он, охрипший от крика, который никого не мог предупредить в этом грохочущем мире, догонял и прижимал к земле тех, кого успевал. Но как он мог помочь всем им, рожденным в муках женщиной и в муках завершавших свои короткие, как вздох, жизни, когда их судьбы предопределили ошибки амбициозных генералов, которых ничему не научило октябрьско-ноябрьское отступление к Керченскому полуострову в первом году войны, и теперь май довершал кровавую жатву.

«Будьте вы трижды прокляты!» Он тогда не мог знать про это сталинское проклятие, которое услышал представитель Ставки после керченской катастрофы, прибыв на доклад в страшный кабинет с дубовыми панелями и длинным столом под портретами Суворова и Кутузова. Возможно, его и не было, этого проклятия. Но в симоновских военных дневниках допускается эта психологическая возможность, и не будем ее отвергать.

Пуля его все же нашла. Он неловко упал на руку после сумасшедшего бега по неровному полю, когда сердце было готово выпрыгнуть из груди, и очнулся уже в крытой машине в куче других военнопленных и конвоиров с овчарками, которые подсказывали на ухабах и скулили от неуголимого желания повиснуть у них на горле. Кто-то невидимый болевым приемом выкручивал ему руку, и эта кричащая немой криком боль осталась в нем навсегда, просыпаясь 9 Мая, в день поминовения погибших, когда на экране телевизора появлялась картинка с вечным огнем и диктор за кадром привычно читал текст, сопровождая его списком жертв, напоминающим, что по своей натуре люди еще слишком звери и недалеко ушли от ветхозаветного ковчега, в котором спасались, когда разверзлись все источники великой бездны и окна небесные открылись.

Упрямый на годы за проволоочные ряды, он, как и шесть миллионов других солдат войны, хлебнул через край лиха положения несудимых

преступников, которые, вопреки людоедскому приказу июля сорок первого года, панике не поддались, при первой угрозе оружия не бросали, не тянули за собой других. Ему не в чем было себя упрекать и строго судить, как это пытались делать после войны бериевские охранники в фильтрационном лагере Новороссийска. В своих он не стрелял, в карателях не пребывал, а вот однажды пожалел пленного немца, которого ему вместе с красноармейцем-земляком поручили доставить в штаб полка. Напарник трусил идти в стылую ночь, не видел корысти в этом поручении и по дороге чудовищно просто предложил застрелить немца, а когда он сделать это отказался, все же урвал момент для выстрела. Обернувшись на хлопок, он увидел огненно-рыжую голову лежавшего на земле паренька, который уронил фуражку при падении, а теперь непослушной рукой сгребал снег и тащил в рот, видно, горело у него все внутри...

Уже после войны вблизи своего дома он встретил того душегуба, который оказался его соседом, но ни тогда, ни позже с ним не заговаривал, вынеся приговор презрением.

«Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне...»

Эта блоковая строчка, неведомая герою моего рассказа, вся как бы пронизана поэзией Генрика Ибсена и музыкой Эдварда Грига, великих сынов небольшой страны на северной окраине Европы.

В Норвегию он попал не туристом, а узником одного из самых

страшных лагерей смерти, откуда не выпускали живыми. Одно упоминание его названия дало ему вольную, спасло от спецлагерей НКВД, заготовленных впрок для защитников родины. Из Новороссийска его отпустили без каких-либо хвостов и проволок — свой счет со смертью он давно выправил.

От пережитого он не ожесточился сердцем, только стал немногословным, словно ушел в себя, оправдывая слова писателя, удивившего меня неожиданным признанием. «Конечно, к моей радости, — писал Константин Симонов, — я не раз встречал потом на войне и тех, кто остался в живых, пройдя невредимым через тяжкую крымскую эпопею весны сорок второго. Но они даже в дни самых больших побед не любили вспоминать о ней. На разные воспоминания тянуло людей во время войны, в том числе и на трудные. Но на воспоминания о случившемся тогда на Керченском полуострове — нет, не тянуло!»

Он оправдал сполна эту характеристику писателя-фронтовика, хотя какая-то информация мне все же перепала.

Во время кратковременного пребывания в рейхе его вместе с несколькими другими узниками отвезли на работу в поместье, чей хозяин, большой военный чин, воевал на восточном фронте. А еще через несколько дней пришла легковая машина с офицерами, лица которых красноречивее слов сказали о хозяине. Пленные приготовились к самому худшему, когда вышедшая

к ним фрау Хильда объявила, что ее Зигфрид погиб, как подобает германскому воину, и пригласила всех к столу выпить за упокой его души.

Но самое неправдоподобное ждало их впереди. В норвежском лагере (я до сих пор не знаю, что они там изотовляли — оружие возмездия или бочки для трески) уже в середине апреля, в самом конце войны, подошел к ним, работающим, охранник-немец и спросил: знают ли они, для кого роют вот этот ров. Они, конечно, догадывались, что скоро всех их ликвидируют, замывая следы. «Вы должны бежать сегодня ночью, — продолжал немец. — Ножницы, чтобы резать проволоку, найдете в условленном месте. С вышек будет стрелять конвой, но поверх ваших голов, а если кого зацепит, — не обижайтесь. На то и война». Этот призыв к побегу мог оказаться подстрекательством, обычной провокацией, поводом для массовых расстрелов, но выбора у них не было. Ночью они перерезали проволоку, и хотя пулеметы били с вышек, ушли в лес, где скрывались трое суток до прихода союзников. Так они выжили, вырвались из ада, ворота которого, казалось, захлопнулись за ними навсегда.

Хотя, если быть точным, спаслись они много раньше. И вот при каких обстоятельствах. Вы, конечно, помните, как русский солдат Андрей Соколов, герой шолоховского рассказа и не менее известной его экранизации Сергея Бондарчука, выпил, не закусывая, три стакана водки, которая могла влить жизнь в истощен-

ный организм не одного — нескольких военнопленных. Как-то утром, пересекая территорию лагеря, мой герой был остановлен властным окриком высокого офицера в немецкой форме, который сделал знак: дескать, следуй за мной. Зайдя в помещение и плотно закрыв дверь, он задал узнику вопрос на грузинском языке: «Откуда ты родом, парень?» — «Армянин из Тбилиси». Офицер вышел в соседнюю комнату и вернулся с хлебом и банкой консервов: «Ешь!» Но он есть не стал, сказав, что отнесет в блок, где такие же, как он, голодные, умирающие от голода. Офицер одобрительно кивнул головой и в дальнейшем не раз переправлял через него такие передачи, которые спасли жизнь многим.

Уже вернувшись в Тбилиси после репатриации, мой герой встретил на Колхозной площади офицера из норвежского лагеря. Граждан-

ская одежда так же ловко сидела на его ладной фигуре, как и военная форма. Он узнал его издали, сделал невольное движение навстречу, чтобы обнять своего спасителя, привести к себе домой, угостить в ресторане. Но бывший офицер неуловимым знаком показал: не обращай на меня внимания. И мой герой понял, что лучшей благодарностью для знакомого будет, если он его сейчас не узнает. Ни сейчас, ни когда-либо. Они разошлись в разные стороны, чтобы уже больше никогда не встретиться.

Мой герой, твердо храня обет молчания, ушел из жизни, не оплатив долг их спасителю. И только как-то, разговарившись, рассказал об этом мне, своему зятю, ведь девочка, провожавшая на войну отца и горевшая от жара из-за разлуки с ним, стала потом моей женой.

СОДЕРЖАНИЕ

Валерий ПАРТУГИМОВ	
СЫН ТОЙ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ	5
Эмзар КВИТАИШВИЛИ	
ТЯЖЕЛО ТЕРЯТЬ ТАКОГО ДРУГА	7
Гулбат Торадзе	
ПАМЯТИ ДРУГА	11
Гиви ШАХНАЗАРИ	
АРСЕН ОСТАЕТСЯ С НАМИ	12
Камилла-Мариам КОРИНТЭЛИ	
АРСИК	12
Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ-ШАДУРИ	
КАЗАЛОСЬ, ОН БУДЕТ ВСЕГДА	14
Моисей БОРОДА	
СЛОВО О ДРУГЕ	16
Арсен Еремян. СТИХИ	
QUO VADIS	19
АВТОГРАФ	20
ТВОРЧЕСТВО	20
ПАМЯТЬ	21
ЗИМА	22
«Как давно в Армении я не был...»	22
СОПЕРНИКИ	23
«Деньги все же пахнут...»	23
«Нет в своем отечестве пророка...»	23
ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ	24
ЗАВИДУЮ ВЕТРУ	25
ОДИНОЧЕСТВО	25
Арсен Еремян. ПРОЗА	
ДОМИНАНТА	27
СОБАКА И УЛИЦА	31
ОЧКИ НАДЕНЬ	33
ТЕНЬ ОТЦА ГАМЛЕТА	38
ЗАВЕЩАНИЕ ГРОССМАНА	39
МУЧЕНИК С ВОЗНЕСЕНСКОЙ УЛИЦЫ	48
БРИЛЛИАНТЫ ВСЕГДА В ЦЕНЕ	54
СОЛЬВЕЙГ НЕ ПРИБЕЖАЛА НА ЛЫЖАХ	60

Издатель –
Международный культурно-просветительский Союз
«Русский клуб»

Издание осуществлено при поддержке
Международного благотворительного фонда «КАРТУ»

Руководитель проекта
НИКОЛАЙ СВЕНТИЦКИЙ
заслуженный деятель искусств РФ

НАШ АРСЕН

СБОРНИК ПАМЯТИ АРСЕНА ЕРЕМЯНА

Редактор
АЛЕКСАНДР СВАТИКОВ

Дизайн, компьютерное обеспечение
ДАВИД ЭЛБАКИДЗЕ-МАЧАВАРИАНИ

Над книгой работали
ВЛАДИМИР ГОЛОВИН
АЛЕНА ДЕНЯГА
МАРИНА МАМАЦАШВИЛИ
НИНА ЗАРДАЛИШВИЛИ-ШАДУРИ